



Бѣлогвардейскій романъ



Красный хоровод

Ю. Галич • К. Попов

Константин Попов

Красный хоровод (сборник)

«ВЕЧЕ»

1921, 1929

Попов К. С.

Красный хоровод (сборник) / К. С. Попов — «ВЕЧЕ», 1921, 1929

Генерал Георгий Иванович Гончаренко, ветеран Первой мировой войны и активный участник Гражданской войны в 1917–1920 гг. на стороне Белого движения, более известен в русском зарубежье как писатель и поэт Юрий Галич. В данную книгу вошли его наиболее известная повесть «Красный хоровод», посвященная описанию жизни и службы автора под началом киевского гетмана Скоропадского, а также несколько рассказов. Не менее интересна и увлекательна повесть «Господа офицеры», написанная капитаном 13-го Лейб-гренадерского Эриванского полка Константином Сергеевичем Поповым, тоже участником Первой мировой и Гражданской войн, и рассказывающая о событиях тех страшных лет.

© Попов К. С., 1921, 1929

© ВЕЧЕ, 1921, 1929

Содержание

«Мы дни суровые забудем...»	6
Ю. Галич	10
1. Карпаты	10
2. Под стук колес	17
3. «Великая – Бескровная»	23
4. Прилуки	29
5. «Гвардкав»	36
6. Загадка Крымова	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Юрий Галич, Константин Попов

Красный хоровод (сборник)

© ООО «Издательство «Вече», 2008

* * *

«Мы дни суровые забудем...»

*В вечерней мгле катились эскадроны,
Был слышен храп и топот конских ног.
Вперед, вперед!.. Там слава, там знамена!..
Звени труба и сабельный клинок!*

Юрий Галич

Уроженец Варшавы, «отчетливый» кадет Полоцкого кадетского корпуса выпуска 1895 года, Георгий Иванович Гончаренко (будущий писатель Юрий Галич) едва ли полагал, что, став взрослым, займется литературным трудом, и что истинная слава сочинителя придет к нему лишь за рубежами Отечества под конец его недолгой жизни. В письмах родственников я разыскал упоминание о нем моего прадеда, в письме к прабабушке, где он писал о братьях Георгии и Иване, собиравшихся погостить в их семье в пору летних каникул. *«...а вообще я рад, дети Nadine, серьезный Georges и беспечный младший Jean приедут к нам теперь. Пусть покажут нашей «молодежи», что есть подлинные, отчетливые кадеты, и вдохнут в них дух бодрости... Уверен, что и нашим детям их общество будет весьма кстати; они теперь взрослые, и пусть наши... перенимают у старших родственников их сдержанный и разумный характер...»*. Мой дед вспоминал, что когда наконец родственники-кадеты прибыли, то сразу же, по-военному, отправились представиться главе семейства. На вопрос, чем он собирается заниматься на отдыхе, Георгий отвечал, что еще в корпусе увлекся сочинениями Ивана Анненкова и намерен читать их и далее, и (что более всего поразило родственников) намерен «заняться литературой». Здесь необходимо добавить, что литературой в то лето Георгий Гончаренко так и не занялся, окунувшись с головой в обыкновенную летнюю жизнь, как и многие его сверстники. Но идея о литературных занятиях так поразила и увлекла моего деда, что позже он, отказавшись от военной карьеры, посвятил себя сочинительству.

На правах младшего родственника, мой дед принимал самое живое участие в летних развлечениях в доброславской усадьбе своего дяди в Полесье, где энергичный Жорж учил братьев обращаться с охотничьим оружием. Сам Жорж иногда уезжал погостить к друзьям, в известную усадьбу Бутурлиновку, стоявшую на берегу речки Сердобы, верст за тридцать от города. Там мужская половина гостей и хозяев развлекалась охотой на дрофу. По доброте сердечной Георгий и Иван иногда приглашали туда и своего младшего родственника. Мужское общество иногда разнообразили визиты соседских красавиц. «Как-то верхом примчалась Зина Волконская. Провела только сутки, закрутила, взбаламутила всех, перессорила между собой и умчалась...», – напишет впоследствии ироничный Жорж. А когда лето заканчивалось, и наступали дни учебы, братья возвращались к своим делам: Жорж и Жанчик – в корпус, а их кузены – к гимназической жизни.

Все братья Гончаренко в равной степени тяготели к домашнему уюту, помогавшему пережить серость будней. По вечерам в доброславской усадьбе часто пересказывались прапрадедовские истории. Он был известным человеком, и круг его друзей и знакомых составляли не просто увенчанные сединами герои турецкой войны и туркестанских походов, но люди поистине исключительные, ставшие историческими фигурами еще при жизни. За боевые успехи brave полковник Гончаренко был однажды приглашен на высочайший завтрак в походный шатер императора. Растроганный успехами бригады Гончаренко, Александр II запросто обнял и расцеловал brave офицера, приговаривая: «А где были бы турки, если бы не твоя бригада?..»

В ходу были рассказы прапрадеда о его долгой дружбе с внуком великого Суворова – князем Александром Аркадьевичем, и о молодых эскападах с ровесником, ротмистром лейб-гвардии Гусарского полка, будущим российским фельдмаршалом Иосифом Гурко. Разумеется, «уютные древности», как называл их сам Георгий Иванович, хорошо вспоминать вечерами, когда трещат дрова в камине и за окном тихо падает снег. В полыхавшей огнем Гражданской войны России, когда генерал Гончаренко только начинал свою литературную деятельность, воспоминания о предках показались ему «милым анахронизмом», о котором он мыслил написать в более подходящее время.

Написание семейной хроники не состоялось. Прапрадед был человеком замечательным во многих отношениях. Будучи вторым ребенком в многодетной офицерской семье, где помимо него было еще 17 человек детей, он оказался в 17 лет на военной службе, приняв участие в подавлении польского мятежа. Затем – долгие годы службы, участие в Венгерской кампании 1848 года, первый орден Св. Анны 3-й степени, полученный за участие в ней... Бытовала в нашем семействе и некая «династическая тайна», относившаяся к истории одного из родственников, женившегося в царствование Николая I на молоденькой фрейлине императрицы Александры Федоровны, Марии Парижской – особе весьма загадочного происхождения. Появилась она на свет в 1815 году, через девять месяцев после посещения Парижа тремя европейскими монархами во главе с Александром I, и была названа некоторыми историками «побочной дочерью» русского царя...

Жизнь Георгия Ивановича Гончаренко до Великой войны 1914–1918 годов оказалась поровну разделенной между военной службой и литературными упражнениями. Ставши выпускником Николаевского кавалерийского училища в 1897 году, он служил в Гатчине на должности строевого офицера лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка. В Великую войну полковник Георгий Гончаренко возглавил 19-й Архангелогородский драгунский полк, за отличное командование которым в мае 1917 года был удостоен Георгиевского оружия. Тогда же, приказом главнокомандующего генерала от инфантерии Корнилова, Георгий Иванович был назначен на пост начальника штаба Гвардейского кавалерийского корпуса в Петрограде. Появилась возможность чаще бывать дома, и, если выдавались свободные дни, посвящать их литературным упражнениям и общению с родными и сослуживцами, старыми знакомыми по 1-й Гвардейской дивизии. Многих своих настоящих друзей Георгий Иванович потерял еще задолго до развала империи. Круг этих друзей был неслучаен и сформировался в мирное время в обстановке общей увлеченностью литературой, родственными и сословными связями и привязанностями.

Еще до войны Георгий Иванович, насколько было возможно, посещал «литературные четверги» гофмейстера Высочайшего двора и поэта Константина Случевского, доброго приятеля великого князя Владимира Александровича, с которым поэт немало путешествовал вместе. Там, на салонных чтениях, молодой Гончаренко беседовал с великими философами и литераторами своего времени, а знаменитый Владимир Соловьев даже обещал подковать «хромого Пегаса» молодого стихотворца, которого он иронии ради, именовал «фельдмаршалом».

Поэт отчасти предвосхитил судьбу своего визави. Хотя Гончаренко и не получил высший воинский чин Российской империи, его военная карьера в предвоенную пору неуклонно шла в гору. Заметной вехой его биографии стала учеба в Николаевской академии Генерального штаба.

Еще со времени Полоцкого кадетского корпуса, Георгий начал собирать свою библиотеку, экономя на столь обычных для мальчика удовольствиях как покупка сладостей. Книги эти были дополнением к обширной библиотеке его отца, Ивана Юрьевича Гончаренко, изрядно пополнившего её в годы жизни в Варшаве. Унаследовав библиотеку после скоропостижной смерти отца, Георгий Гончаренко не только продолжил собирание книг, но и заботливо переплетал их, придавая собранию не только содержательную, но и формальную ценность.

Уволившись из армии в декабре 1917 года, Георгий Иванович поспешно покинул Петроград и отбыл в Киев, где ненадолго установилась власть генерал-майора Павла Петровича Скоропадского. Перед отъездом Гончаренко навестил своего друга, князя Юрия Ивановича Трубецкого, у которого впервые познакомился с будущим поэтом эмиграции и будущим зятем Юрия Ивановича графом Петром Андреевичем Бобринским. Молодой человек собирался в Добровольческую армию, и был решительно настроен, принять участие в борьбе против большевиков в качестве артиллериста на любой, даже рядовой вакансии. В холодном и смертельно опасном для офицеров императорской армии Петрограде 1917 года за столом в гостинной у Трубецких сидели два поэта и читали друг другу стихи – Юрий Галич и Петр Бобринский... О чем были эти стихи, мы, вероятно, уже не узнаем. Возможно, о том, о чем позже написал в эмиграции граф Бобринский: *«Мы дни суровые забудем, // Блеск нетерпимый этих дней, // Когда вернемся в морок буден // Жестокой родины своей. // Ища в последствиях причины, // В угаре тлеющей лучины, // В сугробах зим погребены, // За явь беспечную мы примем // Не пошлинами вековыми – // Морозом кованные сны // ...И гасит в преддекабрьской муте // Мгновенный пламень революций // Возвратное дыханье зим. // Рукой поднятые железной // Мы над разверстой звездной бездной // Обвороженные летим»**.

Жизнь и служба, а также множество «открытий» природы гетманской власти в Киеве превосходно описаны Георгием Гончаренко в повести «Красный хоровод». Связавшись с представителями Добровольческой армии в городе, генерал Гончаренко выехал в Одессу и прибыл в группировку добровольческих войск под командованием генерала Николая Николаевича Шиллинга.

Деятнадцатый год стал трагическим для Георгия Ивановича. Жена умерла от тифа, дочь Наташа вместе с бабушкой остались в большевистском Петрограде на попечении тетушки. Жизнь в этом городе для людей их сословия была небезопасной, и вскоре стараниями родственницы, они перебрались в деревню, где та служила сельской учительницей. Связь с ними прервалась, хотя Георгий Иванович пытался поддерживать переписку с дочерью в надежде на встречу. Не довелось ему увидеть и внучку, родившуюся у Наташи в 1933 году.

В апреле 1919 года генерал-майор Генерального штаба Георгий Иванович Гончаренко приказом главнокомандующего Вооруженных сил Юга России был зачислен в резерв чинов при штабе Деникина. Бездействие томило Гончаренко, а отступление частей ВСЮР, Новороссийская катастрофа и вынужденный отвод войск в Крым предвещали скорый конец Белой борьбы на Юге России. Новый главнокомандующий Русской армией барон Врангель не препятствовал тому, чтобы генерал Гончаренко был откомандирован в резерв сухопутных и морских сил Временного правительства Приморской областной земской управы. Через Константинополь на борту гражданского судна Георгий Иванович в компании нескольких офицеров прибыл на Дальний Восток. В течение года, находясь в резерве, он смог заниматься журналистикой и писательской деятельностью.

Казалось, что для него Гражданская война закончилась, хотя в первой половине 1921 года он и получил новое назначение внештатным генералом для поручений при командующем войсками Временного Приамурского правительства. Соотношение сил на Дальнем Востоке стремительно менялось в пользу большевиков. Народ, как водится, безмолвствовал, тем самым облегчая красным военный и политический захват власти. Усилился отток беженцев, ибо слухи о зверствах красных партизан и регулярных частей Красной армии множились день ото дня, тысячами увлекая людей с насиженных мест в неизвестность. Становилось ясно, что предстоит скорая разлука с родиной.

Генерал Гончаренко выбрал путь вынужденной эмиграции, но, покидая Дальний Восток, устремился к западным рубежам России, где русская культура еще не была окончательно утрачена, и где жило немало его сослуживцев и соотечественников. Поселившись в 1923 году в Риге, в квартире своих прежних знакомых по Петербургу, Георгий Иванович занялся наконец

литературной работой. Несмотря на то, что до 1917 года писательская слава не сопутствовала ему, в рижском литературном сообществе 1920-х годов писатель Юрий Галич сразу занял положение маститого литератора, высоко оцененного его знаменитыми современниками – Петром Моисеевичем Пильским в Риге и Петром Николаевичем Красновым в Берлине.

Круг общения Галича в Риге не был столь широк. Он был любим всеми знавшими его людьми, добр и корректен с незнакомыми, вежлив и доброжелателен, но продолжал жить в замкнутом мире своих внутренних переживаний. В эмиграции он так и не женился, оставшись верным памяти жены и считая, что в его годы «смешно обзаводиться семьей». Настойчивым поклонникам он неизменно отвечал: «Я был слишком избалован столь красивой и хорошей женщиной, каковой была моя жена, и знаю, другой такой у меня не будет...»

Жизнь бывшего генерала Гончаренко в Риге состояла из работы над книгами, переписки с дочерью, общением с добрыми знакомыми, но даже такая разнообразная деятельность не могла заменить утраченного мира прежней России. С волнением он наблюдал из окна своей квартиры вступление в Ригу советских войск в 1940 году. На улицах появились красные флаги, запестрели приказы и листовки, запрещающие, упреждающие, угрожающие. Наконец, в городе появились представители НКВД, начавшие вызывать на беседы эмигрантов и лиц без подданства – всех тех, кто не успел покинуть страну. На «беседах» вкрадчиво расспрашивали о жизни за границей, интересовались бытом и жизнью эмигрантов, сокрушались, что те «не поняли революцию». Жестокая машина коммунистического террора понемногу набирала обороты. В обмен на жизнь и гарантию спокойного существования при советской власти от эмигрантов, особенно военных, требовали доказательства лояльности режиму. Их принуждали оповещать обо всех подозрительных фактах поведения знакомых, писать отчеты о беседах и встречах с людьми их круга, настаивали на секретном сотрудничестве и осведомительстве.

12 декабря 1940 года, после ряда подобных «бесед», пребывая в состоянии моральной подавленности, генерал-майор Георгий Иванович Гончаренко покончил жизнь самоубийством, повесившись на электрическом проводе в своей рижской квартире, в доме по улице Аспазии. После него осталась неоконченная повесть о юности под названием «Когда малиновки звенят», над которой писатель трудился последнее время. Стараниями его рижской знакомой Евгении Петровны Квесит, генерала похоронили на Покровском кладбище Риги.

О.Г. Гончаренко

Ю. Галич

Красный хоровод

1. Карпаты

Стоял белый, ясный, тихий январь.

Кавалерийская бригада занимала горную позицию на Карпатах. Участок был глухой, малодоступный, дикий. В тылу была Надворная, впереди – венгерская граница и австрийские окопы...

Смена происходила еженедельно.

Сделав переход в двадцать пять верст, бригада останавливалась, слезала с коней и, оставив их при коноводах, подымалась в горы.

Брали проводников и шли узенькою тропой, змеившейся по берегу неведомого ручья, пересекали утопавший в пуховой перине ельник и буковый лес, измотались на скалистых кручах. Тащили на вьюках горные пушки, тянули пулеметы на салазках и, шаг за шагом, упираясь палками в снег, скользя и падая, ругаясь и подбадриваясь смехом и шутками, подымались выше и выше.

Шли несколько часов, делая время от времени приостановку, чтобы перевести дух, подтянуть отставшие хвосты, походные двуколки и кухни...

В горах царила величавая тишина.

Ни птицы, ни зверя, ни единого существа. Только вились петлями кабаньи следы да заячьи тропы. Искрился снег и голубело небо. По склонам чернел лес, задумчивый, недвижимый, молчаливый. А впереди, как заповедный рубеж, отмеченный на карте красной линией фронта, белел снеговой хребет.

К полудню, после утомительного перехода, бригада занимала позицию. Один полк, с конно-горным артиллерийским взводом, располагался на небольшой площадке, среди гор, ночуя в низких, сырых и холодных, наспех сработанных саперами, землянках. Другой – венчал своими спешенными эскадронами четыре голые вершины, с кольцевым окопом и жидким проволочным ограждением.

Коноводы возвращались в Пнюв...

На берегу застывшего ручья, возле базальтовой скалы, с которой в полдень стекали хрустальные капли, стоял дом лесника.

Здесь помещался штаб.

Дом был сколочен из сосновых бревен. В нем находилась печь, скамейки, нары, колченогий стол. Когда трещал мороз и в окна стучалась январская стужа, в избе было тепло и уютно.

Печь накалялась до красна, огонь лизал обугленные головни и алым светом полыхал по стенам... Горела керосиновая лампа... Пел самовар... Ду-ду! – дудел бригадный телефон... Пять офицеров полкового штаба сидели за столом, писали донесения, беседовали, пили чай...

Стоянка на горной позиции располагает к беседам, к обмену мнениями, к разговорам на различные темы.

Затерянная среди гор, как крошечная точка, на общем тысячеверстном фронте, оторванная от больших путей, бригада жила своею жизнью. Внешних впечатлений было немного. Сведения почерпались, главным образом, из армейских сводок да случайно попадавших в руки старых газет.

Беседовали о предстоящей весенней кампании и прекращении достаточно всем надоевшей войны. Само собой разумеется, никто не сомневался в конечной победе над истощенным

противником. Настроение было устойчивое и бодрое, подкрепляемое уверенностью в близкой развязке и заключении достойного мира.

Одновременно, тайком, передавалось многое другое.

Говорили что-то о конституции, не совсем точно уясняя себе значение этого слова, болтали о предстоящем государственном перевороте, возглавляемом якобы Ставкой и великими князьями. Пронесся даже фантастический слух о заточении императрицы в Соловецкий монастырь.

Трудно сказать, каким образом все эти слухи долетали из тыла на занесенные снегом вершины. Приносились ли они лицами, командиремыми в столицу по служебным делам или просто, в порядке летучей армейской почты, передавались из ближайшего центра, в форме интимной беседы, которая тотчас становилась известной, волнуя и командный состав и людей...

Нужно признаться, что ореол царя, никогда, впрочем, не бывший значительным, к третьему году войны поблек окончательно и мерк со дня на день. Все ставилось в вину этому незадачливому, несчастному человеку, взнесенному капризом судьбы на тяжелый русский престол в роковой час русской истории.

И затяжная, в связи с технической отсталостью и неудачным командованием, неслыханно кровопролитная, опустошительная война. И назначения на высшие посты в государстве бездарных, недостойных, вызывавших общественное негодование лиц. И сплетни о шпионаже и вероломном предательстве, свившие якобы гнездо в Царскосельском дворце – все это, косвенно или прямо, относилось к царю и непопулярной царице.

В особенности раздражала распутинская история, раздутая до невероятных пределов, подрывавшая уважение к короне, набросившая мрачную тень на святость и чистоту царских чертогов. Много здесь ложного, преувеличенного и несправедливого, но доля истины все же имела. Убийство старца было встречено ликованием...

Я позволил себе коснуться вскользь этой острой и до сих пор еще волнующей темы, чтобы отметить, что и на фронте, в самой глухой и затерянной его точке, отголосок общего настроения имел свое место. Может быть, сравнительно незначительное, ибо главное внимание было все же устремлено вперед, туда, в смутно синевшие за Быстрицею-Надворнянскою дали, где за вражескими окопами начиналась венгерская граница и мерещился загадочный Кересмеж...

Ваше сиятельство, князь Николай Петрович Вадбольский, мой уважаемый начальник дивизии!.. Драгуны – Архангелородцы девятнадцатого полка – полковник Петровский, Карганов и Алексеев, ротмистр Кубаркин, Алябьев, Орфенов, Чебеняев, Бухаров и барон Драхенфельс, господа офицеры и солдаты, мои боевые друзья!..

Если попадутся вам на глаза эти строки, быть может, разбудят они в вашей душе воспоминания о далеких карпатских днях, от ясного утра к оранжевому закату, и от заката к веющей черными мохнатыми крыльями ночи...

Я бы воспел их, как сказку, как лирическую поэму, достойную, может быть, стихотворного ритма!..

На кручах, среди снегового безмолвия, под горячим золотом солнца и в студенom мраке ночей, бригада стояла на страже, верная боевому закону.

Было несказанное очарование в богоданной природе, величавой и пышной, не оскверненной человеческой пошлостью, лучезарной и чистой, словно только что вышедшей из рук Творца.

Белый ковер, ослепляющий до боли в глазах, раскинул во все стороны бриллиантовые узоры, затопил долины и бездны, запустил вершины и склоны. А на нем, словно шапка сказочного волшебника, окаймленная голубыми песцами, чернеет вековой, дикий, непроходимый лес.

Прозрачен разреженный воздух, и если взглянуть сверху вниз, на австрийскую позицию, лежащую, за скованным ледяным панцирем, горным потоком, три версты расстояния

превращаются в каких-нибудь триста шагов... Удивительный обман зрения!.. Все видно, как на ладони... Стальная сеть заграждений, амбразуры и бруствера, запорошенный снегом блиндаж... В бинокль можно разглядеть даже безусое лицо молодого солдата, облокотившегося, в раздумье, на винтовку, с острым жалом ножа...

В полдень дымятся походные кухни, ползет острый запах каши и щей. Гусары резерва сидят на солнце в расстегнутых куртках, чинятся, смазывают оружие, балагурят, раздражаясь крепким здоровым хохотом, перекидываются, как малые дети, в снежки.

Господа офицеры покуряют табак, беседуют между собой или же, на крошечных лошаденках гуцульской породы, взбираются на горы и поверяют сторожевые заставы. Иногда, не более, как раз на день, прозвучит выстрел:

– Та-ку!

Это коза или олень вышел на часового. Это значит, что в одном из эскадронов будет на ужин свежее мясо. Тысячезвучным эхом выстрел облетает горы, долины, ущелья и замирает вдали...

Я сижу на стволе поваленного бурей дуба и гляжу в синие дали, где обрываются горы и лежит, среди венгерской равнины, таинственный Кересмеж... Светлые образы ласкают умиротворенную душу... Снеговое безмолвие и величавый покой полны непередаваемого очарования... Порою, мне чудится благовест... Я не знаю что это такое – горный обвал или журчанье потока, хрустальная музыка ледяных капель или просто игра обостренного слуха?.. Но порой чудится звон далеких колоколов, создающий фантастическую иллюзию, погружающий сознание в область несказанных миражей... Дон-дон-дон!.. Огненный лик улыбается прощальной улыбкой и готов скатиться за лиловые горы... В вечеряющем небе вспыхивают ясные горные звезды... Таинственная мелодия звучит все реже, все глуше...

«Вечерний звон,
Вечерний звон,
Как много дум
Наводит он...»

Сейчас, на третьем году войны, я почувствовал впервые необъяснимое утомление, не столько, впрочем, физического, сколько морального свойства. Бессонные ночи, напряженные дни, нервная тревога тридцати бесконечных и страшных месяцев не проходят бесследно... Чувства требуют отдыха... Душа жаждет покоя!..

Ко всему этому, я стал обнаруживать в себе признаки какого-то странного охлаждения к тому ремеслу, которому посвятил себя с юных лет. Оно рисовалось мне в несколько иных формах. Подойдя теперь к нему совершенно вплотную, я обманулся во многом.

И точно, если в ремесле кровавого бога войны раньше, может быть, наблюдалась доля известной романтики, сейчас не осталось и тени. Романтика осталась только в воображении восторженных юношей да на пергаменте старинных гравюр, запечатлевших батальные эпизоды и подвиги отдельных, воспетых, может быть, с излишней щедростью героев.

Взамен романтики – серая, скучная проза.

Вместо эффектных кавалерийских атак, мгновенных и сокрушительных, как удар молнии – бесконечное сиденье в зловонных траншеях. Вместо героических подвигов – война на истощение сил, со всеми сопутствующими ей спутниками: холодом, голодом, пожарами и дымом развалин, сыпняком и жгучей тоской по прекрасному...

Сейчас, в этой позиционной войне, не может быть ничего, напоминающего конную атаку Домбровского под Соммой-Сиеррой, ни дерзкого броска ротмистра Бехтольсгейма в бою под Кустоцией, ни подвига самого Бонапарта на Аркольском мосту.

Зейдлиц и Цитен, бессмертные гренадеры и маршалы великого корсиканца – Ланн, Ней, Мюрат, партизаны отечественной войны – Сеславин, Фигнер и Дорохов, кавказские орлы – Слепцов, Бакланов, герои севастопольской обороны и других исторических битв и кампаний – француз Камбронн, американец Морган, русский майор Горталов – все это легендарные фигуры прошлого, которое не повторится.

Дерзость, отвага, личный пример, подвиги мужества, чести, великодушие, с обменом рыцарскими любезностями на полях брани – «*Mtssieurs les Angliais, tirez les premiers!*» – уступили место единоборству машин, бездушной технике, бесстрастным законам экономики, химии и механики...

Кто близко соприкоснулся с оборотной стороной батальной медали, кто слышал раздирающие сердце стоны тяжелораненых, хрипение умирающих и заживо погребенных, кто видел сотни, тысячи, гекатомбы молодых человеческих тел, смрадных, истерзанных и распухших, в различных позах устилающих поля битвы, вперивших невидящие глаза в ликующее ясное небо, или частокол, выстроенных в шеренги, безвременных могильных крестов, кто наблюдал, наряду с этим, упадок общественного одушевления, равнодушие и вакханалию сытого, праздного, распутного тыла – тот не мог не ощущать всеми нервами ужасов современной войны...

Современная война хороша, может быть, издали или в воображении. На близкой дистанции, она представляет чрезвычайно однообразное, смертельно-скучное и порою совершенно невыносимое зрелище...

Здесь, на тихой карпатской позиции, в уединении с величавой природой, впервые в моем сознании закопошились новые мысли. Впервые я усомнился в правоте того дела во имя которого уже принесено, с обеих сторон, сколько неисчислимых жертв.

Во имя чего, ради каких интересов, из каких, может быть, высших, но не понятных для огромного большинства людей соображений?

Для того, чтобы утопив землю в слезах и в крови, перекроить карту Европы на новый лад и создать новый повод для будущих, еще более гибельных столкновений.

Бессмысленность решения международных тяжб при помощи разрывных пуль, отравленных газов и тяжелых орудий, становилась для меня очевидной. Затраченные миллиарды и миллионы человеческих жизней, к сожалению, самых сильных, самых отборных, являлись бесцельными и преступными.

О, прогресс, культура, цивилизация, какова ваша ценность, если от зари христианства, пройдя через двадцать столетий, наряду с великими завоеваниями мысли и духа, не нашли ничего лучшего, как принести с собой новые усовершенствованные методы в технике человеческого взаимоистребления!..

Здесь, в эти ясные, светлые, успокоительные часы, я впервые почувствовал некоторое сомнение в верности того пути, на который не столько, может быть, по влечению, сколько по семейным традициям, встал двадцать лет тому назад.

Оглянувшись на этот путь, я не имею, в сущности, права быть им недовольным.

Я проделал его легко, без особых усилий, в благоприятно сложившейся обстановке. Военная служба выковала характер, дисциплинировала ум, подчинила чувства рассудку. Эта служба развернула в моей жизни ряд прекрасных страниц. Наконец, с точки зрения служебной карьеры, открывает передо мной безграничный простор.

Мне тридцать девять лет. Я сохранил силы и свежесть, возможные лишь на военной службе. Состою пять лет в чине полковника Генерального штаба, имею значительный опыт, высшие боевые отличия, представлен к производству в чин генерала. Впереди меня ожидает командование кавалерийской дивизией, может быть корпусом или армией.

Но на военную службу, как и на всякую службу вообще, я ставлю, кажется, крест. Вторая половина моей жизненной дороги сложится иным образом. К счастью, я не обладаю чрезмерно развитым честолюбием.

С окончанием войны, если судьбе будет угодно сохранить меня невредимым, я намерен взять полугодовой отпуск и подать в отставку. Я поселюсь в своей усадьбе и буду жить для своих близких и для себя, отдаваясь своим страстям – охоте и путешествиям.

Кроме того, я сделаю попытку заняться литературным трудом. Я напишу книгу о Великой войне, простую правдивую книгу, но не в форме исторического или военно-научного повествования, а в виде небольших бытовых очерков. В ней будет изложено все, что я видел собственными глазами, что перечувствовал собственным сердцем, на страдном пути от берегов Балтийского моря до снежных вершин Карпат...

А сейчас – командуя пятнадцатый месяц драгунским полком и хотел бы закончить войну на этой должности. Она меня удовлетворяет в несравненно большей степени, нежели штабная работа.

О, какое это великое наслаждение стоять во главе тридцати шести смелых, решительных, достойных во всех отношениях офицеров и тысячи таких же отборных солдат, из различных губерний обширного царства российского – вологодских, рязанских, саратовских, камениц-подольских, повинующихся малейшему слову, знаку или намеку, с пламенным сердцем исполняющих мою волю!..

За эти пятнадцать месяцев, я сроднился с полком, как только можно сродниться в тревожной боевой обстановке, перед лицом ежеминутно веющей смерти, на переходах по всему фронту, среди блестящих удач и горечи поражений. Мне тяжело будет расстаться. По этой причине, я уже дважды отказался от предлагаемых назначений и, с некоторым волнением, ожидаю третьего предложения, на которое должен буду ответить согласием...

Я вспоминаю, как совсем недавно, каких-нибудь две недели тому назад, с нами прощался командир нашего, 2-го кавалерийского корпуса, великий князь Михаил.

Он получил почетное назначение на должность генерал-инспектора кавалерии.

Вблизи полуразрушенной Надворной, у деревни Красна, на фоне голубеющих Карпат, великий князь сделал нам прощальный смотр.

На сером токийском жеребце, в серой черкеске и папахе, в сопровождении небольшого штаба, великий князь объезжал кавалерийскую бригаду, построенную на залитой ярким солнцем снеговой поляне:

– Здорово, архангелогородские драгуны!

– Здорово, иркутские гусары!

Я перед бригадой коротким галопом скакал на своей «Лилиан Грей». Под звуки трубачей мы проходили церемониальным маршем, салютовали и отвечали на приветствие по правилам кавалерийского устава. Пестрели бело-красные флюгера на пиках, несло серебряное ржание коней, сверкали снеговые хлопья из-под копыт драгунских и гусарских эскадронов.

Вечером, в деревне Майдан Гурный, мы чествовали великого князя прощальным ужином.

Было просто и весело. Гремела музыка. Офицеры пели, рассказывали, декламировали. В особенности отличался один прапорщик, бывший артист опереточной сцены, с большим искусством передававший модные военные песенки, высмеивавшие старого Франца Иосифа и немецкого кайзера:

«Будем мы,
Тра-та-та,
Воевать,
Тра-та-та,
А на прочее нам наплевать!»

Великий князь смеялся от всей души. Я сидел рядом с ним и вместе с ним вспоминал наши юные годы. Великий князь остался тем же простым, скромным, доверчивым человеком. Но с внешней стороны сильно изменился.

Он постарел, наметились морщины, волосы заметно поредели, от прежнего румянца не осталось следа. И тем не менее, он все-таки напоминал мне того красивого юношу, каким я знал его когда-то по совместной службе в кирасирском полку.

Великий князь был болен серьезно желудочной болезнью. Он часто уезжал с фронта в орловское имение Брасово. А сейчас покидал нас совсем:

– Вы не поверите, как жалко уезжать!.. Как будто расстаюсь навеки!

Предчувствия его не обманули.

Это была последняя встреча с великим князем, милым, славным моим сослуживцем и командиром, о котором храню светлую память.

Вместе с тем, это были последние дни, проведенные мною, под одной кровлей, в дружной бригадной семье...

И был такой день, яркий, светлый, бестрепетный день, когда мне подали телеграмму.

Я стою у базальтовой скалы, по которой стекают хрустальные капли, гляжу на застывший ручей и на сверкающий снег, с отблесками чьих-то следов.

По моему мнению, это выдра, маленькая, бойкая выдра, та самая, которая каждую ночь подходит к домику лесника и, покружившись с какими-то таинственными целями, сбегает обратно к ручью и исчезает в одном и том же северном направлении. Все это можно прочесть по следам, как по следам же я открываю ночные визиты зайчишек, бысролетный бег коз, ран-деву диких свиней...

Полковой адъютант передал телеграмму. Я вскрыл и прочел официальные строки:

«Не встречается ли препятствий к назначению вас военным представителем в главную квартиру главнокомандующего итальянским фронтом?»

Генерал Головин.

Этот запрос был для меня неожиданным. Однако, мне было известно, что отдельные офицеры Генерального штаба получают командировки в союзные армии. Это производилось не столько по военным, сколько по политическим соображениям.

Два чувства боролись в моей груди.

Поездка на итальянский театр, в штаб генерала Кадорны, новое путешествие, новые впечатления, само собой разумеется, отвечали моим желаниям. Я сознавал, что так или иначе, в самом ближайшем будущем, мне придется расстаться с полком, как бы я не упорствовал. Нужно воспользоваться, на этот раз, соблазнительным предложением, которое достается на долю не каждого.

После короткого размышления, я ответил согласием.

В волнении протекло несколько дней. Сознание рисовало заманчивые картины. Я имел шансы получить предлагаемую командировку.

Мною было упущено только одно обстоятельство.

Будучи первым кандидатом по фронту, я мог не оказаться таковым же по Ставке, в которой не было, кстати, прочно налаженных связей.

Так оно и случилось. Назначение мое не состоялось.

Вместо предполагавшейся Италии, я получил приказание ехать в Прилуки и занять должность начальника штаба Второй кавалерийской дивизии, с правами бригадного генерала...

Двадцать пятого февраля, после сердечных проводов, я расстался с полком и с горной позицией.

Оглянувшись в последний раз, я увидел охотничий домик и стоявшую возле него группу людей... Я увидел подымавшийся к небу вертикальными струйками дым драгунских костров и зазубрины снегового хребта, за которым, как фантастический призрак, как влекущее марево, лежал загадочный Кересмеж...

2. Под стук колес

Я не историк, не публицист и не научный исследователь событий, отыскивающий причинную связь между звеньями одной и той же цепи, разлагающий каждое явление на составные части, подвергающий их критическому анализу и, в совокупности всех трудов, представляющий обществу точный, ясный, непогрешимый вывод.

Я неизвестный, маленький человек, впервые выступающий на литературном поприще, выросший в специальной военной среде, сроднившийся с нею всем существом, не свободный, конечно, от многих ее условностей и предрассудков, но в то же время, в силу ряда причин, с неизменным интересом, и даже с долею некоторого сочувствия, следивший за развитием русской общественной мысли.

Таким образом, с политической точки зрения, я бы считал себя примыкающим к умеренно-прогрессивному лагерю, стремившемуся вполне законными мерами, в соответствии с имевшимися возможностями, направить страну на путь широких, разумных, необходимых реформ.

В борьбе самодержавия с этой общественностью, симпатии, естественно, лежали на стороне последней, но симпатии тайные, в силу служебного положения не могущие быть проявленными открыто, увеличивавшиеся по мере злосчастных ошибок престола и власти.

Вместе с тем, сохранилась, однако, верность монархическим принципам и идее, как хранительнице лучших традиций русского прошлого, как эмблеме государственного могущества, сковавшего в нерасторжимое целое великую страну.

Апокалипсические события грядущих дней не поколебали моего символа веры, но дали лишнее доказательство, что без единой национальной, честной и сильной власти, соответствующей политической зрелости страны, великое государство не выйдет из того состояния социального, экономического и политического распада, в который поверг его помутившийся разум народа, роковые ошибки престола и вихрь не в меру затянувшейся, неудачной войны.

Само собой разумеется, что эти события обрели во мне не столько апологета, сколько идейного и физического противника и одну из бесчисленных жертв.

Но кроме того, на мою долю выпала роль наблюдателя, по прихоти своевольной судьбы соприкоснувшегося достаточно близко с отдельными актами великой русской трагедии.

Все пережитое я пытаюсь передать на страницах моей маленькой повести, под условием, что личные впечатления, штрихи и отрывочные заметки не будут восприняты, как вполне объективный и полный, претендующий на абсолютную точность, в особенности, в своих поверхностных заключениях, труд.

Со своей стороны, я буду как можно более искренним.

Я продолжаю повесть с того прочно сохранившегося в памяти дня, когда автомобиль санитарной летучки доставил меня из Пнюва в маленькую, грязную, забитую повозками тыла, расположенную у подножия гор – Коломыю.

Само собой разумеется, что прямой путь из Коломы и в Прилуки лежит в стороне от железной дороги на Петроград.

Но если принять во внимание поверхностный срок и любезность непосредственного начальника, предложившего кратковременный отпуск для устройства домашних дел, станет понятным, почему неведомые Прилуки отошли временно на задний план, уступив место хорошо знакомой невиской столице...

Февраль на исходе.

По этому случаю, как первый вздох, как ласкающее предчувствие, наблюдается сеяние южной весны. На полях еще лежит снег, но какой жалкий, в бурых проплешинах, с островами

жирного чернозема!.. Потоки червонного золота льются с ясного неба... И дымится земля, и щекочет весенними ароматами...

Весна с одной стороны, а с другой, стук вагонных колес, мягкое покачивание рессор, уют комфортабельного купе и сознание быть предоставленным всецело себе на протяжении нескольких дней – все это располагает к легким, радужным размышлениям.

– Трах-тах-тах! Трах-тах-тах! – звенит металлическая симфония, со своим несколько однообразным, убаюкивающим ритмом.

А перед глазами еще стоят снеговые вершины и зазубрины голубого хребта, ущелья и кручи, занесенные пушистым ковром, задумчивое безмолвие леса, горный ручей и хижина лесника, возле которой виднеются несколько крошечных точек.

– Не поминайте лихом, друзья!

Я покинул вас навсегда, со всеми планами и надеждами, о которых бывало, в минуты досуга, так горячо велась беседа за кружкой наполовину остывшего чая.

– Прощайте!

В памяти стоят слова напутственных пожеланий, последняя беседа с начальником, передавшим, под строгим секретом, неожиданное известие. Без сомнения, оно будет встречено мною с удовлетворением. В ближайшем будущем, по представлению Ставки, состоится мое назначение командиром гвардейского полка, по всей вероятности лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества.

Двадцать лет тому назад я начал в этом полку военную службу!.. Этим же полком я закончу свою боевую карьеру!.. Подобное совпадение следует признать исключительным!..

Между тем, промелькнул тернопольский вокзал, наполненный офицерами всех родов войск, как всегда шумный, как всегда залитый электрическими огнями, создающими особое настроение.

В окна глядит вечеряющая волынская равнина.

– Трах-тах-тах! – выстукивает валторна колес, мелькают столбы, проносятся встречные поезда, бегут в такт знакомые рифмы:

«С севера болота и леса,
С юга степи, с запада Карпаты,
Тусклая над морем полоса,
Балтики зловещие закаты.
А с востока – дали, дали, дали,
Ветер, солнце, песни, облака,
Золото и сосны на Урале
И руды железная река...»

Я нахожу особое развлечение в беседе с дорожными спутниками.

Сначала, уже немолодой инженер путей сообщения передает свои наблюдения над галицийскими железными дорогами, посвящает в детали железнодорожного дела, из коих до сих пор держу в памяти одну характерную мелочь.

Спрашивается, по какой причине на русских дорогах отдавалось предпочтение деревянным шпалам перед металлическими?

По словам инженера, это объясняется не богатством лесного материала, а главным образом тем, что деревянные шпалы способствуют лучшему сохранению дорогостоящего подвижного состава...

Знакомство с артельщиками, перевозящими под охраной конвоя денежные пакеты, дает повод к беседе на новые темы.

Вспоминаются эпизоды из прежнего, разбойные нападения «эксов» и революционеров различных мастей, во имя борьбы с самодержавным режимом, пополнявших подобным образом свои тощие кошельки. Вспоминается, между прочим, известное в свое время ограбление киевского государственного банка, на Липках, передаваемое мне, как свидетельство очевидцев. Один из артельщиков при этом был даже ранен...

Незаметно протекает волынская ночь.

А утром – Киев в пышном зимнем уборе, мать городов русских, с золочеными маковками раскинутых на семи днепровских холмах церквей, с седоусым Днестром, с Купеческим садом в серебряной россыпи и тяжелых снеговых гроздьях, с бойким Крещатиком, с Семадени и с Франсуа, с веселой киевской толпой, с розовощекими киевлянками, с суетой столичного тыла.

О, милый, столь любезный моему сердцу град, в котором и юность, и зрелость, и золотые детские годы отмечены неувядаемыми следами!..

Наступит час и я вновь возвращусь под твои изливающие негу покровы и снова моя нога, в поисках ласкового приюта, будет попирать твои гостеприимные стогна!..

Чем дальше на север, тем морознее и тоскливее...

Уже нет ничего, напоминающего вчерашнее веяние галицийской весны... Снег, снег и снег!.. Запорошенные леса и синеватый иней обледенелых полей... Наохлившись вороны, проволока телеграфных столбов, станционные здания, прикорнувшие сиротливо в сумраке зимнего вечера...

Могилев – с комендантом и рослыми жандармами на перроне... Ставка – головной мозг тысячеверстного фронта, стратегический центр, от которого разбегается целая сеть микроскопических нервных сосудов, к Балтийскому морю, к болотам Полесья, к горным вершинам Карпат...

Высшие полководцы, представители союзных держав, царская свита и Его Величество – Император...

– Трах-тах-тах!.. Трах-тах-тах! – звенит металлическая симфония... И снова падает ночь, вторая ночь, в течение которой удастся задремать лишь на рассвете.

Причина заключается в капитане Бобкове, капитане туркестанских стрелков, герое с тремя ранениями и Георгиевским крестом на груди.

Ах, совершенно непередаваема эта стрелковая одиссея, насыщенная тихими окопными ужасами, газами ядовитых снарядов, смрадом гниющих на проволоке человеческих тел!.. Человеческой доблестью, человеческой низостью, отвагой и малодушием, дерзким вызовом року и слепую покорностью, с пьяным лозунгом в периоды кратковременных тыловых развлечений:

– Хоть час да мой!..

Принадлежность к одному и тому же военному цеху придает нашей беседе специальный характер. Из-под спуда извлекается старый багаж, исторические примеры, героические эпохи, начиная от сотворения мира до нынешних дней.

Дело, конечно, не в том, в какой мере та или иная боевая эпоха лишена налета романтики или, наоборот, насыщена ею. Дело в том, что не право, а меч является, по-видимому, высшим арбитром, призванным разрешать тяжбы между народами на нашей, трижды грешной земле. И это значение он сохранит еще на тысячелетия...

От седой древности, от разрушенных царств, со времен какого-нибудь вавилонского Гаммураби, этого Карла Великого далекой, покрытой пылью и прахом эпохи, от ассирийцев и финикийцев, от персидского Ксеркса, мидийцев и парфян – в классический мир, к великому царю македонян, с гоплитами и македонской фалангой, к нумидийским всадникам, к Карфагену, к Ганнибалу и Каннам, к железным легионам Юлия Цезаря... От печенегов и скифов, вандалов и готов – к гуннам Атиллы и Католаунским полям, к норманам, тевтонам и франкам, к Ронсевалу, к Роланду, к Карлу Мартелу, в такое же кровавое Средневековье...

От походов великолепного рыцарства – к сарацинам и маврам, к татарам Батыя и монголам Тимура, к оттоманам, венграм и византийцам... От чешских дружин Яна Жижек и кантональных «батальи» Арнольда Винкельрида – к кондотьерам Сфорцы и Малатесты, к ландскнехтам Валленштейна и Тилли, к Густаву Адольфу, к Тюренну и Евгению Савойскому, к Оливеру Кромвелю, к Карлу XII, к прусскому Фридриху, к русской Екатерине, к великой эпохе Наполеона...

А потом, столетие новейшей истории – гуманитарных наук, великих открытий и великих человеческих кровопусканий...

Да, меч, тяжелый железный меч, является, к сожалению, верховным судьей, и до конца мира, пока на земле остается два человеческих существа, ему, по всей вероятности, принадлежит решающее значение!

В конце концов, не есть ли это закон, вытекающий из основного закона борьбы за существование, который неизменно наблюдается в природе, в каждом органическом атоме?

Не есть ли это роковая необходимость или стихийное бедствие, не подвластное укрощению человеком, подобно потопу, вулканическим катаклизмам, голоду, моровому поветрию, уносящим миллионы живых и здоровых существ, в виде необходимой поправки к другому закону, вызывавшему, в свое время, опасения Мальтуса?..

Если сравнить прошлое с настоящим, трудно определить какому времени следует отдать предпочтение.

Основываясь на истории и военной науке, можно отметить, что древние и средние века заняты сплошь ремеслом массового человекоубийства. Это взаимоистребление на полях брани, когда противники сходились на длину меча или какой-нибудь сарисы, отличалось особым кровопролитием. Процент павших в рукопашном бою поражает своею относительною величиною, пленные истреблялись, мирное население уничтожалось, не исключая женщин и грудных младенцев. Болезни и мор довершали работу оружия.

В связи с новейшею эрою в истории человечества, в кровавых тяжбах между народами наблюдаются, правда, некоторые антракты. Однако, эти антракты компенсируются, в пользу бога войны, такими неисчислимыми жертвами, при очередных взрывах, с которыми трудно сравнить даже всю эпоху Крестовых походов или Тридцатилетней войны.

Статистики успели привести ряд интересных цифр.

Так, один день битвы на Марне повлек за собой расход чугуна и стали, равный выпущенному в течение всей франко-прусской войны 1870 года.

В боях под Верденом сгорело, как ворох соломы, двадцать восемь германских дивизий.

В мартовских боях на Сомме, ценою уничтожения шестидесяти четырех дивизий, немцы растреплют союзные армии французов и англичан, и поставят Антанту на край гибели.

После битвы «за гавани», последует еще более грандиозная «битва за Париже», в которой примет участие 152 германских дивизии. Наконец, последует «битва за мир», в которую будет брошено все.

В заключительных боях, решивших судьбу великой кампании, германские армии потеряют 700 000 ранеными и убитыми, 360 000 пленными, 6000 орудий, 33 000 пулеметов.

Соединенные Штаты Америки, в последние месяцы войны, расходуют на свою армию один миллион долларов в минуту.

Общая сумма военных издержек сражавшихся государств составит примерно 70 миллиардов английских фунтов.

Если разложить эту сумму серебряными рублями, они образуют гигантскую ленту, которою можно опоясать земной шар тысячу раз.

Количество убитых бойцов, поставленных в затылок друг другу, составит цепь, длиною в 7000 километров, почти равную протяжению Великого сибирского пути, от Петербурга до Владивостока.

Если убитых построить в густые колонны, по восемь человек в шеренге, и пропустить церемониальным маршем, подобный парад займет десять суток.

Не подтверждают ли эти цифры ту мысль, что культура и цивилизация не внесли серьезного изменения в неумолимый закон, согласно которого, известная часть человечества, в известные сроки, вычеркивается одним ударом из списка живых существ?..

Никаким Гомерам не описать кровавый хаос, именуемый великой войной, не воспеть битв, равных коим не было на земле от сотворения мира!..

Беседа переходит снова на актуальные темы.

Само собой разумеется, капитан Бобков, как истинный патриот, верит в близкую победу над упорным противником. Ценою страшного напряжения, миллионами раненых и убитых, потрясением всего организма, заплатила Россия за свою темноту и техническую отсталость. Но победа – не за горами!..

Победа смоем позор поражений, даст стране уверенность в своей силе, укрепит зашатавшийся трон, проложит новые пути к могуществу, величию, славе!.. Император, с высоты престола, передает народу часть прав и, без сомнения, переходит в историю – Великим!..

Так говорит капитан Бобков.

А мне вспоминаются, в эту минуту, слова плененного под Трембовлей прусского майора:

– С целым миром воевать невозможно!.. Мы будем, вероятно, раздавлены!.. Но Николай II никогда не будет Великим!..

Эти слова сидят в мозгу, точно гвоздь.

Часто они приходят на ум и не понять их символического значения...

Россия надорвалась, это верно, но не сломан позвоночный хребет, не затронуто сердце... Еще последнее, небольшое усилие, месяц, другой, может быть, третий – и победа, решительная и окончательная, обеспечена...

Разве до некоторой степени не справедлива старая истина, что «Россия проигрывала сражения, но выигрывала кампании»?

Только бы продержаться!..

Только бы не сдать в последний момент!..

Тем более, что союзники не ставят активных задач. Наше состояние им известно. Весь цвет русского войска, весь кадр, гвардейские части, все лучшее и отборное, уложено в первый же год войны. Задача теперь заключается в том, чтобы стоять на занятой линии, приковать к ней поредевшие массы противника, лишить его возможности переброски сил на западный фронт, на котором решится судьба великой европейской трагедии...

Все это было так просто и ясно, что не вызывало никакого сомнения, и картина грядущей победы рисовалась с полной определенностью.

Но слова майора смущали и волновали. Образ царя, маленького, незаметного человека, с застенчивой улыбкой, с неуверенными движениями, тихого, скромного, лишенного природой всех внутренних и внешних черт венценосца и самодержавного владыки, в самом деле не укладывался в сознании рядом с эпитетом – Великий...

В окно глядит белое зимнее утро.

Мороз становится все сильнее и стужа проникает в вагон. У царскосельского вокзала последняя остановка. Пассажиры наполняют проходы, обмениваются рукопожатиями, прощальными пожеланиями:

– Всяких благ!

– Иван Петрович, советую остановиться в «Астории»!

– Милости просим!..

– Не забудьте, Караванная № 12!..

– Весьма приятно! – бросает на прощанье капитан туркестанских стрелков. – Значит – победа, а конституция – дело девятое!..

Поезд подпрыгивает на стрелках. В мглистом петербургском тумане плывут семафоры, станционные будки, контуры серых зданий.

На дебаркадере пустынно.

– Носильщик!

Студент в синей фуражке, с красной повязкой на рукаве, подходит к дверям вагона и произносит с явно подчеркнутым торжеством:

– Ни носильщиков, ни извозчиков!.. В Петрограде – революция!

– То есть как?

– Ниспровержение существующего строя! – с улыбкой объясняет студент. – Господин полковник, рекомендую снять шашку!.. Военные подвергаются эксцессам!..

3. «Великая – Бескровная»

Эти слова, при всей своей неожиданности, не произвели на меня особого впечатления. Я отнесся к известию почти равнодушно и поймал себя тотчас на мысли:

– Революция!.. Черта с два!.. Армия в полном порядке!.. Мало ли что может прийти на ум в петроградском болоте!.. Забастовка каких-нибудь мастеровых – это еще не революция!

Да и большинство пассажиров отнеслось к словам студента без видимого волнения, недоумевающе переглянулись, пожали плечами, кое-кто сдержанно улыбнулся. Только одна, сравнительно уже немолодая дама, в каракулевом саке, с красивыми, строгими чертами, слегка побледневшего от утомительной ночи лица, кинулась обратно в вагон, упала на ближайший диван и истерически зарыдала:

– Я не хочу!.. Не надо!.. Назад, назад!

С группой офицеров, я направился к коменданту.

Упитанный прапорщик, в щегольском френче с выпущенным поверх крахмальным воротничком, какой-нибудь помощник присяжного поверенного или секретарь благотворительного дамского комитета, и стоящие рядом с ним, два усатых жандарма, кстати обезоруженные, что невольно бросалось в глаза, проявляли nepoзвoлитeльную растерянность.

Прапорщик не принимал ни вещей, ни оружия, которое некоторые из офицеров пытались ему вручить на сохранение, слезливо моргал глазами из под стекол пенсне и убедительно упрасивал покинуть комендантскую комнату, в которую по его словам «уже залетают пули».

Загородный проспект был заполнен толпой.

Это было море голов, над которыми, точно кровавые пятна, реяли красные флаги. Раздавалось пение марсельезы. С рыканьем пролетали автомобили, с какими-то статскими лицами, с молодыми девушками, с женщинами, с красными лоскутами в руках.

В серых солдатских шинелях, в серых папахах, сдвинутых на затылок, с пулеметными лентами, перехваченными крест на крест, с винтовками за плечами, беспорядочными, нестройными толпами, под предводительством каких-то чумазых, взлохмаченных, размахивавших офицерскими пашками оголтелых солдат, проходили воинские команды. В густой толпе продвигалась процессия, с алыми знаменами, с яркими золочеными лозунгами на полотнищах. Доносились слова нового гимна:

Вставай, проклятьем заклейменный!

Подобная же толпа заполняла окрестные улицы и широким потоком присоединялась к шествию...

Все это было до того противно и мерзко, в особенности, вид распущенного солдатского сброда, с наглыми лицами, с вызывающими движениями, все это находилось в таком резком противоречии с порядком на фронте, где царит смерть и железный закон дисциплины, что в груди закипала жестокая злоба.

Не удивление и не возмущение, а именно злоба проникала насквозь и готова была прорваться наружу. И хотелось, чтобы произошло то, что могло бы, при других обстоятельствах, произойти каждый час, каждый миг, и послужить грозным сигналом.

Хотелось, чтобы из первого же попавшегося переулка, какой-нибудь смельчак в офицерских погонах, какой-нибудь поручик или капитан, кто угодно, вынесся на галопе с парой пушчонок, снялся бы с передков и, на свой риск, на свой страх, дал бы два залпа картечью.

Неизвестно, что осталось бы от всей революции?..

Но ни поручиков, ни капитанов, ни полковников таких не было. А был ясный, морозный, солнечный день и упругий снег, мягко поскрипывавший под ногами... Были запроженные

толпой улицы невской столицы, красные флаги и бродившие по всем направлениям солдаты петроградского гарнизона...

Никем не задерживаемый, но встречаемый иной раз враждебными взорами, приостанавливаясь на перекрестках и, с болью, ядом и горечью, наблюдая революционное зрелище, я дошел беспрепятственно до одной из рот Измайловского полка.

Старик швейцар, бывший семеновский унтер, Карл Иванович, снял галунную шапку:

– С приездом, барин!.. Что делается-то у нас, не приведи Господи!.. Народ совсем с ума посходил!

На лестнице встретила квартирантка:

– С приездом, полковник!.. Позвольте пожать вашу руку!.. Дождались, наконец!.. Но вы, кажется, недовольны?

Дверь открыла мне Лялька.

От изумления, она сделала большие глаза, вскрикнула и, как всегда, с обычной застенчивостью, прикоснулась ко мне губам. Мой приезд ее чрезвычайно обрадовал и одновременно успокоил.

Вскоре в квартире раздался звонок.

Сосед, делопроизводитель Измайловского полка, счел долгом поделиться только что полученными сведениями.

Министры, за исключением бесследно скрывшегося Протопопова, арестованы. Арестован и командующий войсками, старый, горбоносый, глубокомысленный педагог, генерал Хабалов.

Государственная дума, в составе Временного комитета, приняла полноту власти. Но одновременно образовался какой-то Совет рабочих и солдатских депутатов.

В городе беспорядки.

Толпа громит окружной суд на Литейном проспекте. Из Литовского замка освобождают уголовных преступников. Полиция разбежалась. В городе происходят убийства. Очень тревожно в Кронштадте, в котором бесчинствуют матросы.

С фронта, для подавления беспорядков, двигаются войска. Настроение глухое, смутное, обостренное. Можно ожидать всего.

– Господи Иисусе, что же это такое!

И взволнованный делопроизводитель усиленно засморкался...

«Великая – бескровная», как, впрочем, каждая революция, с первых шагов уже обагрилась человеческой кровью.

В нескольких шагах от моей квартиры, был растерзан, на глазах своей жены, командир эскадрона николаевского кавалерийского училища, Павлоградского гусарского полка, подполковник Георгий Левенец. Я близко знал его с детских лет, мы бы ли однокашниками по кадетскому корпусу и впоследствии встречались неоднократно.

Бедный Жора, талантливый спортсмен и скакун, славный, сердечный, доброжелательный малый, от головы до кончика ног преданный своему делу!..

Уже насчитывались десятки жертв среди офицеров петроградского гарнизона и столичной полиции.

В Царском Селе был поднят на штыки Третьего Гвардейского стрелкового полка, полковник Григорий Шестериков, мой одноклассник по тому же кадетскому корпусу, награжденный, в свое время, за выдающиеся успехи, тремя золотыми продольными фельдфебельскими нашивками. Это был твердый, решительный офицер, имевший мужество заявить своему батальону, что не нарушит царской присяги...

В Обводном канале, толпа утопила начальника одного из артиллерийских заводов, генерала Борделиуса. На Литейном мосту убит известный профессор, член Французской академии наук, генерал Забудский.

В Кронштадте, стал жертвой зверской расправы известный порт-артурский герой, главный командир и военный губернатор Кронштадта, доблестный адмирал Вирен...

Движение ширилось, разрасталось.

Это уже не походило на уличное выступление кучки несчастных, сбитых с толку, рабочих. Это был бунт, умело подготовленный, тонко рассчитанный, удачно приуроченный в отношении времени и точки своего приложения. А может быть, впрочем, просто стихийный взрыв, стремительно выросший от поджога маленькой спичкой в бурное пламя?..

На другой день, я направился в Таврический дворец.

Ни трамваев, ни извозчиков, конечно, не было, и все расстояние, в несколько верст, пришлось сделать пешком, проходить по растревоженным, как гигантский муравейник, площадям и проспектам мечущегося в каком-то горячечном бреде города, наблюдать те же возбужденные толпы столичного люда, массы разнузданной черни, вышедших из повиновения и окончательно распоясавшихся солдат.

В Таврическом дворце, революционный пульс ощущался с особою силой.

Весь район был заполнен солдатами запасных частей – волынцами, московцами, лейб-гренадерами. К подъезду дворца ежеминутно подлетали автомобили. Незнакомые люди, в котелках, в кепках, в мерлушковых шапках кавказского типа, выходили к солдатам, произносили какие-то речи.

В самом дворце шныряли и бегали по всем направлениям люди – депутаты, офицеры, солдаты. Какие-то барышни раздавали бутерброды и разливали чай. В толпе выделялась грузная, характерная фигура председателя Думы – Родзянко. Неподалеку стоял и что-то, с убеждением и пафосом, говорил сереброусый и сереброустый депутат Милюков. Промчался полковник Генерального штаба, депутат Борис Энгельгардт, назначенный на должность революционного коменданта. Быстрой походкой прошел человек с темным ежиком на голове, с бледным, бритым, утомленным лицом провинциального женпремье. Это был – Керенский...

В одной из зал находились арестованные министры.

Сквозь застекленную дверь можно было видеть массивную фигуру Хвостова, высокого, седого, с черными щетинистыми бровями, бывшего министра юстиции Щегловитова, совсем дряхлого, всего только несколько дней тому назад назначенного премьера – князя Голицына, наконец, военного министра, мрачного метафизика-канцеляриста – генерала Беляева, в пенсне, с испуганным, унылым лицом, как нельзя больше оправдывавшего в эти минуты присвоенную ему кличку – Мертвой Головы...

Гул голосов на мгновенье стих.

В сопровождении гвардейцев Литовского полка, в раздавшейся толпе, подталкиваемый под зад прикладами, прошел плотный старик, без фуражки, с совершенно круглой, лысой, сверкавшей, как бильярдный шар головой, в шинели с красными генеральскими лацканами, с сорванными погонами. Лицо его выражало недоумение и растерянность.

Еще недавно, этот ловкий, умный, весьма обаятельный в обращении человек, обласканный царскими милостями, занимал пост военного министра. Женщины и привычки старого бонвивана его погубили. Смешно сказать, но в связи с военными неудачами, общественное мнение обвинило его даже в измене. Все это, конечно, вздор. Однако, преступная небрежность в подготовке военного аппарата и в снабжении армии не может быть отрицаема.

В эту минуту я пожалел не его, а тот мундир, который гасельмовался подобным образом.

В здании Армии и Флота, на Литейном проспекте, в три часа дня был назначен «офицерский митинг».

В зале было полно. Со всех сторон виднелись знакомые лица. Неподалеку от входных дверей, в ветхом, замызганном пальтишке, с предусмотрительно срезанными с погон царскими вензелями, стоял генерал-адъютант Куропаткин. Его лицо смышленного мужичка, хозяина

чайной или плутоватого целовальника, выражало живейшее любопытство. В острых щелочках глаз скользила хитренькая улыбка.

Рядом стоял бывший варшавский генерал-губернатор, неудачный главнокомандующий Северо-Западным фронтом в первый период войны, Генерального штаба генерал Жилинский, болезненный, изможденный, с желтым геморроидальным лицом, с повисшими книзу усами, настоящий «живой труп», как его называли в столичных кругах.

Тут же находился финляндский генерал-губернатор, генерал от кавалерии Бекман, маленький, серьезный, сосредоточенный. Я знал его еще со времен моего детства, когда Бекман командовал в Ахтырке драгунским полком.

В желтых лампасах забайкальского казачьего войска, с желтыми лацканами шинели, стоял бывший командующий 1-й армией, генерал от кавалерии Павел Карлович Ренненкампф. Он находился под следствием за неудачно проведенную операцию в период лодзинских боев, был лишен придворного звания и окончательно растерял свои лавры знаменитого полководца. Его лицо Тараса Бульбы, с седыми подусниками и широким лоснящимся носом, выглядело мрачным и недовольным.

Я заметил в толпе и высокую, кривошеею фигуру бывшего военного министра, генерала от инфантерии Поливанова, главного интенданта Шуваева, начальника Генерального штаба Аверьянова, и целый ряд прочих, менее значительных лиц...

Но вот, молодой щеголеватый полковник, в погонах главного артиллерийского управления, золотых с белыми кантами, легким прыжком вскочил на стол, и, потрясая какой-то бумажкой, огласил заблаговременно составленную резолюцию. В этой резолюции, от имени офицеров столичного гарнизона и офицеров прибывших с фронта, приветствовался переворот и выражалась готовность поддержать силой Временный комитет Государственной думы. Никаких прений, никакого голосования, за недостатком якобы времени, не производилось.

Я вспоминаю, как на смену полковнику, на стол взобрался пожилой штабс-капитан армейской пехоты, с измятым, бородатым лицом, в грязной солдатской шинели.

– Господа офицеры! – выкрикнул штабс-капитан охрипшим голосом. – Я старый социал-демократ! Но в эту минуту я призываю всех к единению!.. Да здравствует армия!

Это звучало патриотически и вызвало шумные одобрения.

Потом на тот же стол вскочил молодой прапорщик:

– Господа офицеры!.. Я старый социал-революционер!.. Да здравствует революция!

Кто-то крикнул, кто-то зашикал. Оратор поспешно соскочил и смешался в толпе полубубков, бекешей, походных шинелей.

Было необычайным наблюдать выступления офицеров в роли ораторов, слышать их речи, признания в какой-то партийной принадлежности. Было удивительным видеть старых заслуженных генерал-адъютантов на этом оригинальном собрании. Подобное чувство разделялось, видимо, многими, выражалось в недоумевающих взглядах, в любопытных улыбках, в бросаемых замечаниях.

Потом, офицеры подходили по очереди к столам, за которыми сидели молодые поручики в модных английских френчах, при аксельбантах, с тщательно завитыми усиками и напояженными проборами. Офицеры показывали удостоверение или отпускной билет и получали записку на право ношения оружия.

Настроение было неопределенное, отчасти подавленное, у отдельных офицеров, наоборот, даже приподнятое. Боевой капитан, с георгиевской ленточкой в петлице шинели, в котором я тотчас признал моего вчерашнего спутника, туркестанского капитана Бобкова, громко, во всеуслышание, бросал:

– Завтра мы покажем всей этой сволочи!.. Пусть только придет гвардия с фронта!..

По слухам, какие-то войска, в самом деле двигались на Петроград.

Для обороны столицы были приняты известные меры. Депутат Гучков, принявший на себя обязанности военного министра, метался по всем вокзалам и, как утверждали, лично составлял пушки. Вечером, его автомобиль подвергся загадочному обстрелу. Сидевший рядом с ним адъютант, молодой князь Вяземский, был тяжело ранен в живот и вскоре скончался...

Между тем, в рядах гарнизона, под влиянием этих слухов, стало наблюдаться некоторое смущение и даже тревога. Десять юнкерских училищ и подавляющее большинство офицерского состава было настроено отнюдь не революционно. Преображенцы и Семеновцы занимали выжидательную позицию.

С другой стороны, необходимо отметить, что разраставшееся движение захватило в свою орбиту не только уличные массы, но и другие круги населения – мелкую торгово-промышленную буржуазию, представителей свободных профессий, часть либеральствующего чиновничества и даже военных, по преимуществу, из центральных учреждений военного министерства. Я бы отметил здесь влияние некоторого гипноза, увлекающего, в этих случаях, человеческую натуру на путь протеста против существующей власти, и сочувствия тем, новым, широковетельным, пленяющим воображение лозунгам, которые несла на своих знаменах возбужденная, торжествующая толпа...

В этом лихорадочном настроении, полном предположений, противоречивых слухов, догадок протек еще день. Газеты не выходили. Обыватель получал сведения из официальных летучек и листков, разбрасываемых с автомобилей.

На следующий день, 2 марта, пронеслись слухи об отречении государя.

Еще через день, слухи стали совершившимся фактом. Двинутые на столицу войска получили приказание возвратиться. Настроение офицерского состава упало. Наблюдалось не столько сожаление, сколько тревога за будущее.

В самом деле, какое, в сущности, сожаление мог возбуждать, в идейном смысле, слабый, безвольный царь, окруживший себя близорукою камарильей и мужиком-проходимцем, с каким-то непонятным упрямством, до последней минуты цеплявшийся за свои самодержавные прерогативы, в критический час не сумевший защитить их мужественною рукою?

А между тем, по моему мнению, это было возможно.

Вопрос только в том, надолго ли удержался бы зашатавшийся окончательно трон и не отразилось бы подавление революции отрицательным образом на будущих судьбах страны.

Впрочем, едва ли эти самые судьбы оказались бы ужаснее тех, которые выпали вскоре на долю России...

Интересно отметить подробность, при каких условиях образовалась первоначальная власть, в лице Комитета.

Всего три дня тому назад, 27 февраля, в связи с роспуском по высочайшему повелению Государственной думы, последняя выделила из своего состава так называемый Временный комитет, состоявший из двенадцати лиц – бывшего президиума и нескольких дополнительных членов.

Комитет не ставил себе широких задач и имел целью исключительно поддержание связи с правительством.

Однако, при вспыхнувших беспорядках в столице, эта связь тотчас прекратилась. Премьер-министр князь Голицын, военный министр генерал Беляев, командующий войсками генерал Хабалов не подавали ни малейших признаков жизни. Члены Временного комитета, при этих условиях, обратились к своему председателю, с предложением принять власть в свои руки.

Усматривая в этом акт революционного характера, Родзянко категорически отказался.

Между тем, беспорядки и волнения разрастались. Поджоги, бесчинства черни, убийства и самосуды стали принимать угрожающие формы. Временный комитет, заседа в кабинете председателя, продолжал настаивать на своем предложении. Верные правительству части

тищетно пытались получить какие либо указания от высших военных властей. Все растерялось и разбежалось.

Командующий запасными частями лейб-гвардии Преображенского полка, полковник Мещеринов, сообщил вечером по телефону председателю прогрессивного блока, депутату Шидловскому, что полк передает себя в распоряжение Временного комитета.

Это известие послужило, кажется, решительным толчком в вполне естественных колебаниях Родзянки, побудив его уступить настойчивым просьбам Комитета:

– Я принимаю власть! – произнес Родзянко. – Прошу вас, господа, беспрекословно мне повиноваться!.. Александр Федорович! – добавил Родзянко, обращаясь к Керенскому. – Это, в особенности, относится к вам!..

Можно еще отметить, что подпольная организация, первоначальная ячейка будущего Совета рабочих и солдатских депутатов, ютившаяся где-то в районе Финляндского вокзала, на другой день была водворена, при содействии Керенского, в здание Таврического дворца.

Улица и тюрьма вошли в храм...

С отречением государя наступило, как будто, некоторое успокоение, в том смысле, что исчез призрак ожидавшегося междоусобия и борьбы низложенной власти с новым правительством.

Одновременно началась травля царской семьи. Пошлые инсинуации, обвинения государя и государыни в измене, в порочной жизни, вплоть до обнажения альковных тайн, бессмысленная, глупая ложь не сходили со столбцов вновь появившихся газет. В этом отношении пальму первенства заслужил несомненно шебуевский «Пулемет», циничный листок, пользовавшийся известным успехом. Впрочем, и серьезные органы печати не щадили красок по адресу павшей династии.

Наблюдались позорные сцены.

На Невском проспекте, молодой прапорщик, стоя на табурете, размахивал карикатурным изображением бывшего императора:

– Николай Кровавый!.. Три целковых!.. Кто больше?

Аукцион этот не имел, впрочем, успеха. Проходившая публика, с брезгливостью, отворачивалась.

С вывески одной из аптек, кучка мастеровых срывала позолоченные гербы. Проходивший в военной форме француз, в расшитой галуном кепи, поднял за крыло валявшегося на панели императорского орла, швырнул высоко на воздух и закричал:

– Вив ля Републик!

Тяжело, больно и оскорбительно было наблюдать эти гнусные сцены, которые жгли точно удар хлыстом по лицу, которые свидетельствовали о забвении русскими людьми всяких границ национального достоинства, чести, великодушие.

К сведениям об отречении государя и наследника престола, я отнесся с неоправдываемым спокойствием:

– Вместо императора Николая II будет царь Михаил II!

Сведения об отречении великого князя, в свою очередь, не вызвали во мне особой тревоги:

– Учредительное собрание изберет форму правления!.. По всей вероятности это будет конституционная монархия!

Лялька, моя чуткая Лялька, не разделяла моего оптимизма:

– Милый, этим не кончится!

Она опускала глаза, но тотчас, как бы опасаясь моих укоров в душевной слабости, принимала бодрый, вполне решительный вид, прижималась ко мне и смеялась...

4. Прилуки

При всех недостатках, природа наградила меня, может быть, с излишнею щедростью, этим голубеньким оптимизмом, при наличии которого душевные скорпионы, муки, терзания и даже удары переносятся с относительной легкостью и, взамен их, снова и снова расцветают иллюзии с призрачными цветами.

Жизнь принесла не мало разочарований. Не раз и не два она заставила усомниться в чистоте человеческих отношений, в искренности друзей, в незыблемости, казалось, прочно сложившихся идеалов. Но эти разочарования и эти сомнения не носили трагический отпечаток и горький осадок их, разбавляемый новыми чувствами и впечатлениями, рассеивался с завидною быстротой.

Я хочу этим выразить, что даже столь драматические события, которые разыгрались на моих глазах в Петрограде, коренным образом расхोdivшиеся с моими взглядами, с военной этикой и установившимися традициями, уничтожившие одним взмахом все те святыни, которым я поклонялся, не уничтожили св мне веры в русских людей и в светлое будущее России...

Да, конечно, очень часто впоследствии или вот, как сейчас, сидя снова в железнодорожном вагоне и направляясь к новому месту служения, я предаюсь меланхолическим думам и размышляю о происшедшем.

Как могло случиться, что трехвековой царский престол, с великим историческим прошлым, преодолевший все испытания, выпавшие на его долю, казалось вросший на вечные времена в русскую землю, оплот и святилище огромного большинства русских людей – в один час, в один миг, словно карточный домик под порывом случайного ветра, рухнул и уничтожен русскими же руками?

Как могло произойти то невероятное, на первый взгляд, явление, что не подпольные заговорщики, сеятели политической смуты, не изуверы и бунтари революционного и социалистического толка, а цвет русской интеллигенции, культурные представители буржуазии, аристократии и даже члены царского дома стали идейными вдохновителями государственного переворота, направленного против самодержавной власти?

Наконец, как случилось, что все бывшие верные слуги режима, патриоты и убежденные монархисты, высшие военачальники – великий князь Николай Николаевич, генерал-адъютанты Алексеев, Рузский, Брусилов, Сахаров, Эверт, главнокомандующие фронтами и армиями, взнесенные на эти ступени и щедро обласканные тою же царскою властью, могли восстать против этой власти и потребовать отречения государя?

Если прибавить к этому, что решительно никто, за исключением разве единичных лиц, не пытался стать на защиту несчастного монарха, что все ближайшее окружение, в лице, казалось, наиболее преданных, испытанных слуг – дворцового коменданта свиты Его Величества генерала Воейкова, генерал-адъютанта адмирала Нилова, флигель-адъютантов Нарыкина, Мордвинова и других, императорского конвоя и прочих, наиболее близких к престолу частей, стремительно разбежались в самый ответственный час, картина трагического крушения становится потрясающей.

Да, старый «Люцернский Лев», сохраняющий в поколениях память о героической страже Тюльерийского дворца, может, в данном случае, сделать только недоумевающую гримасу!..

Дело, конечно, не в том, что фактическими исполнителями февральского бунта, решившего участь режима, стали запасные солдаты столичного гарнизона, мастеровые и петроградская чернь. Почва для этого выступления была психологически подготовлена другими и ими же был дан первый сигнал.

Драматизм положения заключается в том, что не столько самодержавный режим и монархическая идея, отнюдь нет, сколько неудачный выразитель их, в лице императора Николая II, в

конце концов, отшатнул от себя те национально настроенные, монархические и даже консервативные круги, у которых преданность венценосцу не заслоняла чувства любви к России.

И я прихожу к краткому заключению:

Пробил двенадцатый час!.. Мера терпения переполнилась!.. Бессильная, бездарная, близорукая власть, в интересах страны, не могла, очевидно, больше существовать!

Вопрос теперь в том, насколько новая власть окажется совершеннее и могучее той, на голове которой держался до сих пор тяжелый венец Мономаха?..

Подобные размышления занимали меня всю дорогу, вплоть до того момента, когда прошившись с вагоном и пересев в широкие штабные сани, я не очутился на прилуковском большаке, утопавшем в мокром, грязном снегу.

Прилуки, как следовало ожидать, не уездный городок родной полтавской губернии, а небольшое местечко в десяти верстах от Минска – главной квартиры северо-западного фронта.

Штаб Второй кавалерийской дивизии помещался в роскошном замке минского помещика графа Адама Чапского. Начальником дивизии состоял генерал-лейтенант князь Юрий Иванович Трубецкой.

Кто из петербуржцев, а особенно из военных, не помнит эту сухошавую, маленькую фигурку в синей черкеске императорского конвоя, в бородке французского короля Генриха IV, с рыжеватыми, чуть приподнятыми кверху усами, честного русского патриота и бессменного члена яхт-клуба?

Князь Трубецкой называл себя «опальным князем».

Я не знаю в чем выражалась эта опала. Смутно, впрочем, припоминается, что после смерти в Ливадии дворцового коменданта, генерал-адъютанта Дедюлина, и последовавших придворных интриг, командир императорского конвоя князь Трубецкой не получил освобожденной должности, на которую крепко рассчитывал и которую даже временно исполнял.

Это объяснялось тем, что с одной стороны, министр Двора, барон Фредерикс проводил в дворцовые коменданты своего зятя, генерала Воейкова. С другой стороны тем, что князь Трубецкой, третировавший Распутина подобно многим другим близким к императору лицам, как например – генерал князь Орлов, Джунковский, Комаров, флигель-адъютант полковник Дрентельн, мало-помалу утрачивал расположение царской четы.

Бывший конногвардеец, именитый, богатый, он имел данные сделать большую карьеру. Но при дворе больше не состоял, а с производством в генерал-лейтенанты лишился даже свитского звания...

Война застала князя в должности начальника Второй кавалерийской дивизии или, как ее называли – «лейб-дивизии», по той причине, что все четыре полка были шефскими и носили царские вензеля.

Князь Трубецкой, говоря откровенно, не был звонким военачальником и не обнаруживал больших боевых дарований. По складу натуры, это был мягкий, деликатный, изнеженный сибарит, предпочитавший послеобеденную партию в бридж всяким тактическим и стратегическим комбинациям в открытом поле. Князь пользовался, однако, в дивизии общей любовью и уважением. Подкупала его выдержка, спокойствие, широкая барская манера. Офицеры прозвали его в шутку – «Юрием Гордым».

С именем князя Юрия Трубецкого у меня связаны довольно острые воспоминания, относящиеся к первому периоду «великой бескровной» и, в частности, к тем дням, когда по особому назначению, два полка дивизии, Павлоградские гусары и казаки, были вызваны в Петроград для подавления беспорядков. С отречением государя, полки эти были тотчас возвращены обратно.

Штаб дивизии, как сказано выше, помещался во дворце графа Чапского, вместе с которым проживали два его сына-пажа и три молоденькие «грабянки». Дивизия, составлявшая

личный резерв главнокомандующего генерала Гурко, как надежная кавалерийская часть, еще не затронутая революционной заразой, стояла сосредоточенно в окрестных деревнях.

Моя встреча с князем носила сердечный характер. Первая фраза, обращенная с улыбкой ко мне, была выражена в такой форме:

– Юрий Иванович, очень рад вашему назначению!.. Мы ведь с вами двойные тезки!

Нужно ли упоминать, что сердечные отношения с князем, установившиеся с первых же дней, не прерывались вплоть до его ухода. Работа протекала в условиях самой широкой самостоятельности, облегчаемая вдобавок давнишним знакомством со всем командным составом дивизии.

Командиры бригад – генералы Павлицев и Юрьев, командиры полков – полковники Протопопов, Муханов, граф Толь и Упорников, командиры конноартиллерийского дивизиона и батарей – полковник Бурков, Пассек, Бабанин, даже младшие офицеры – все это были мои старые знакомые и друзья, многие еще с того времени, когда в чине молодого капитана Генерального штаба я отбывал в одном из полков дивизии цензовое командование эскадромом.

Революционная пропаганда не преминула вскоре перекинуться на дивизию и, в связи со знаменитым «Приказом № 1», учреждением полковых комитетов, усиленной агитацией специальных агентов, в короткий срок затуманила солдатские головы.

Началось с того, что солдаты потребовали снятия с погон вензелей, тех императорских вензелей, которыми еще так недавно гордились.

Потом заставили командиров полков и офицеров, с красными бутонашками в петлицах, принять участие в праздновании дня 1 мая. Один из офицеров, молодой горячий улан, барон Эльсен, растоптавший бутоньерку ногами, едва не был растерзан на части.

Потом, солдаты вспомнили восточно-прусский поход 1914 года и потребовали выдачи денежных сумм за «круп», которую, объедаясь когда-то прусской индюшатиной, выплескивали вместе со щами из походных кухонь на землю.

Наконец, дело дошло до неисполнения приказаний.

– Первый эскадрон улан не вышел на боевую стрельбу! – доносил полковник Муханов.

– Второй эскадрон драгун не вышел на конное ученье! – доносил полковник Протопопов.

– Третий эскадрон гусар отказался нести службу на станции! – доносил полковник граф Толь.

Подобные донесения командиры полков направляли в штаб дивизии почти ежедневно. При этом, нужно заметить, что в основу неисполнения приказаний, солдаты клали некоторый, с их точки зрения, заслуживающий даже одобрения мотив.

Так например, отказ от боевой стрельбы объяснялся необходимостью беречь патроны, отказ от выхода на конное ученье объяснялся требованием сбережения конского состава. Ясно, что подобными уловками прикрывалась апатия, лень, общая распушенность и упадок воинской дисциплины.

Главное внимание солдаты обратили все-таки на денежный ящик...

В то же самое время, в Минске, рядом со штабом главнокомандующего, известный впоследствии большевицкий комиссар Позерн, устраивал на площади митинги и открыто призывал солдат к бунту.

Главнокомандующий, генерал Гурко, угрожая отставкой, требовал от Временного правительства принятия решительных мер. Правительство продолжало свою самоубийственную политику. Катастрофа надвигалась неотвратимо. Это хорошо видели те, на которых правительство, еще более бездарное нежели царское, смотрело, как на опасных, неисправимых реакционеров.

Безумное заблуждение!

Я готов свидетельствовать честью, что вслед за отречением государя, освобожденный им от данной присяги на верность, уже далеко не составлявший прочную однородную касту,

офицерский состав не держал в уме никаких мыслей о каком-либо контрперевороте, с целью реставрации, и готов был служить Временному правительству не за страх, а за совесть.

Это не было, к сожалению, понято.

Офицерский состав – основание всякой вооруженной силы, продолжал служить мишенью для очередной травли, оскорбительных выпадов, незаслуженных обвинений.

Армия стала на путь разложения.

Революция углублялась.

Нужно было иметь крепкие нервы и волю, чтобы не упасть духом, не потерять мужества и нести свой тяжелый крест до конца.

В эти безотрадные, невыразимо скорбные дни, князь Юрий Иванович Трубецкой держал себя с большим достоинством. Только в интимной беседе звучала порой горечь бессилия, разочарование в русском солдате, опасение за печальный исход войны.

По личному приказанию главнокомандующего приходилось выполнять невероятные задачи. Благодаря такту и выдержке, князь выполнял их удачно...

Я не могу не вспомнить, при этом случае, поездки в казачий полк, еще какой-нибудь месяц тому назад носивший вензеля цесаревича.

В день Благовещения, сделав верхом по невылазной весенней распутице двадцать пять верст, князь прибыл в полк в тот момент, когда с минуты на минуту готова была пролиться кровь. Командир полка, полковник Упорников, и все офицеры были арестованы казаками. У каждой избы стоял часовой с вынутой шашкой. Офицерам были предъявлены чудовищные обвинения.

Бунт был поднят приезжим агитатором, субъектом совершенно дегенератического вида, просидевшим войну в психиатрической лечебнице.

В зале сельской школы собралась возбужденная толпа казаков, две-три сотни потерявших человеческий образ людей, требовавших немедленной расправы. Злоба, наглость, животная трусость – все прорвалось наружу. Толпа угрожала, подступала с криками к князю, в своей обычной черкеске, с белым крестом на груди, спокойно стоявшем в кругу обезумевших казаков.

– Станичники, успокойтесь!

Только два слова, произнесенные твердым, властным голосом. Эти слова произвели впечатление. После получасовой беседы, волнение улеглось, офицеры были освобождены, агитатор исчез.

В виде компенсации, казаки упростили князя дать разрешение на уширение казачьих лампас на пол вершка – и весь инцидент был этим исчерпан...

В мае князь покинул дивизию.

Он попал в число генералов, подлежащих, в революционных условиях, исключению со службы, не столько, может быть, в порядке боевой аттестации, сколько за принадлежность к старой русской родовитой семье.

Когда я доложил телеграмму, князь усмехнулся и произнес:

– Усекновение младенцев!.. Это гучковские штучки!

Вторую кавалерийскую дивизию принял бывший командир лейб-улан Генерального штаба, генерал-майор Дмитрий Максимович Княжевич.

Я хорошо его знал, еще как кавалергардского офицера, как толкового, деятельного и, вместе с тем, весьма приятного человека. Смелый охотник, увлекавшийся на досуге облавами на крупного зверя, главным образом, на медведя, достаточно энергичный и решительный офицер, он время от времени подвергался припадкам необъяснимой душевной прострации, и в эти периоды был склонен, как утверждали, к опрометчивым действиям.

Однако, за время совместной службы, я не обнаружил в моем начальнике ничего, что могло бы его выделить из среды вполне нормальных людей. Служебные отношения не остав-

ляли желать ничего лучшего. Это были даже не отношения подчиненного и начальника, а совместная, дружная, деятельная работа по сохранению последних остатков дисциплины в частях, по успокоению солдатских масс и подбодрению офицерского состава.

К этому времени полки дивизии были сосредоточены на железнодорожных узлах – в Гомеле, Минске, Смоленске и Лунинце, для поддержания порядка на станциях и в окрестных районах.

Деятельность начальника штаба в этот период заключалась, главным образом, в беспрепятственных поездках по отдельным частям, улаживании различных недоразумений между солдатами и офицерским составом, в борьбе с полковыми комитетами, находившихся под влиянием бессовестных демагогов.

Это была каторжная работа, трепавшая нервы до последней возможности! Сколько раз, в минуты душевной слабости, обуреваемый тягостными предчувствиями, я давал себе слово порвать с этой деятельностью, плюнуть на все и уйти.

Только доля офицера, сознающего необходимость оставаться на посту до последней минуты, заставляла изменять принятому решению и продолжать мученическую, в полном значении слова, работу.

Противник на фронте отошел на задний план. Все внимание поглощалось противником в собственных рядах, сплошь и рядом, незримым, тайным, подстерегающим из-за угла, сеящим недоверие, смуту, злобу, ожесточение, ненависть.

О, будь прокляты люди, создавшие из доблестной русской армии тупое, дикое, презренное стадо!

Моя деятельность приобрела вскоре своеобразные формы, о которых считаю уместным сказать несколько слов.

Однажды, глубокой ночью, меня разбудил телефон.

Начальник штаба главнокомандующего, по личному приказанию генерала Гурко, предложил мне немедленно выехать в Гомель.

Дело в том, что направлявшийся из Петрограда на фронт эшелон лейб-гвардии Финляндского полка, со знаменитой третьей ротой «товарища Ленина», не пожелал ехать через Лунинец, а потребовал направления его через Киев. Необходимо, во что бы то ни стало, вплоть до применения силы, заставить эшелон подчиниться распоряжению.

Через час, сидя в вагоне, прицепленном к дежурному паровозу, я мчался в Гомель.

Я умышленно перегнал эшелон и к рассвету, прибыв на станцию, приступил к выполнению плана. Прежде всего, приказал к прибытию эшелона приготовить обед. Затем, вызвав начальника гарнизона, осведомился о настроении подчиненных ему людей, приказал выстроить на вокзале учебную роту, а командиру драгунского полка, ко времени прибытия эшелона, произвести в непосредственной близости полковое ученье.

На вопрос, можно ли рассчитывать на применение, в крайнем случае, огнестрельного оружия, и начальник гарнизона и командир полка меланхолически развели руками.

Кроме того, я вызвал председателя местного совдепа, токаря по металлу, объяснил обстановку, предложил оказать содействие. Польщенный вниманием, токарь изъявил полное согласие.

Но вот подошел эшелон. Батальон рослых гвардейцев, в порядке революционной свободы вывалившийся из вагонов в расстегнутых гимнастерках, без поясных ремней, босиком, устремился немедленно к котлам с дымящейся кашей и щами. Начальник эшелона, молодой прапорщик, робким голосом доложил, что батальон желает ехать на Киев.

Через полчаса начался первый акт.

Председатель совдепа взобрался на табурет и выступил с вполне разумной, горячей, делавшей честь его искренности, речью. Солдаты слушали с любопытством, видимо соглашались, но неожиданно, из задних рядов, раздался голос:

– На Киев, товарищи?

– На Киев! – загудела толпа.

Вопрос, клонившийся к благополучному завершению, был тотчас сорван. Тщетно председатель совдепа, надрываясь до хрипоты, пытался образумить людей, наконец, даже угрожал революционной расправой. Его больше не слушали, смеялись, дразнили, стягивали с трибуны. Обругав солдат последними словами, токарь слез с табурета и скрылся.

Моя попытка в свою очередь потерпела неудачу.

Нужно сказать, что маневрирование драгун и стоящая на перроне вооруженная учебная рота произвели все-таки известное впечатление. Солдаты насторожились, неожиданно подтянулись, с вниманием отнеслись к моим словам, уже кое-где слышались отдельные возгласы:

– Да мы что!.. Мы согласны!.. Как начальство прикажет!

Но вот, из задних рядов снова раздался голос:

– На Киев, товарищи?

– На Киев! – загудела тысяча голосов...

До позднего вечера эшелон болтался на станции. Комендант, начальник службы движения, молодой прапорщик пытались меня убедить в бесцельности дальнейшего упорства. Я сам устал и готов был уже сознаться в бессилии, и даже вытащил бланк телеграммы, чтобы донести штабу фронта. В уме неожиданно мелькнула новая мысль, последнее средство, после которого оставалось сложить оружие.

Я вызвал делегатов и заявил, что разрешения не даю, что отступить от приказа главного командующего не смею, что если эшелон направится самовольно на Киев и у Финляндского полка, находящегося в окопах, по этой причине не окажется хлеба – вина за это упадет на эшелон и, смею думать, ему не поздоровится от своих же финляндских солдат.

Делегаты удалились. Через четверть часа неожиданно заявили, что эшелон подчиняется моему приказанию. Еще через четверть часа, с чувством огромного облегчения я наблюдал, как воинский поезд увозил эшелон лейб-гвардии Финляндского полка, с третьей ротой «товарища Ленина», в указанном ему направлении...

Сколько усилий, напряжения, времени отнимала такая работа по «уговариванию» солдат русской революционной армии и не становилась ли победа на фронте, при этих условиях, совершенно проблематичной?..

Первого июня я получил новое назначение.

Я был назначен начальником штаба Гвардейского кавалерийского корпуса. Я принял это известие с полным удовлетворением. По многим причинам оно отвечало моим желаниям.

Во первых, это было очень лестное назначение. Быть начальником штаба корпуса, составленного из двенадцати полков гвардейской конницы, являлось тем идеалом, о котором можно было только мечтать. Этот корпус – цвет русской вооруженной силы, наиболее блестящая ее единица, с лучшим командным, строевым и конским составом.

Но самое главное заключалось в том, что я ехал снова на юго-западный фронт, на котором провел два лучших боевых года, на котором революционный распад еще не отразился в такой губительной степени. В этом отношении, если перейти на язык математики, можно установить формулу: глубина революционной заразы в войсках является величиной обратно пропорциональной удалению этих войск от столицы!..

И вот, я снова в железнодорожном вагоне.

Моей спутницей является красивая женщина средних лет, в костюме сестры милосердия. Она работает в какой-то общине, но сейчас покидает эту работу. В ее словах звучит горечь и разочарование. Все усилия, все заботы затрачены бесполезно:

– Я ненавижу теперь солдата! – говорит моя спутница.

Из дальнейшей беседы удастся узнать, что она является супругой моего бывшего главного командующего, генерала Гурко. Те унижения и оскорбления, которые пришлось вынести этому

твердому, стойкому, не склонному идти на компромиссы военачальнику, одному из тех полководцев, которыми русская армия вправе гордиться, отразились на психике этой женщины, через какой-нибудь год трагически погибшей на англо-французском фронте...

Потом моим спутником стал молодой инженер, просветивший меня по части, так называемых «товарных недель». Оказывается, что незадолго до печальной памяти февральских дней, по указаниям из центра, товарные составы задерживались на известных узловых пунктах.

С какой целью?..

Может быть, для ремонта или разгрузки?..

Ничего подобного!

Никакого ремонта не требовалось.

По словам инженера, это производилось из тонкого политического расчета. Эта мера имела целью уменьшить приток съестных припасов к столицам, создать недовольство, вызвать толпу на улицу и, инсценировав «революцию», иметь повод для заключения сепаратного мира.

Таков якобы был план правых кругов, преследовавший две цели, одним ударом убивавший двух зайцев: прекратить войну с монархической Германией и пресечь «крамолу» на улицах Петрограда.

Не знаю, насколько все это правдоподобно, равно, как и указание инженера на то, что ежедневные доклады начальников частей петроградского гарнизона о ненадежности войск умышленно клались под сукно, а также о причастности к перевороту представителей союзных держав, главным образом, английского посла, сэра Джорджа Бьюкенена.

Впоследствии, мне приходилось неоднократно выслушивать подтверждение этих слов. Но в эту минуту я не придавал им никакого значения.

Впрочем, кто знает тайные мотивы и побуждения, которыми руководствовалась иностранная дипломатия в последний период императорского режима?..

5. «Гвардкав»

Гвардейский кавалерийский корпус, по сокращенной терминологии – «Гвардкав», стоявший на крайнем фланге Южного фронта, в составе 9-й армии генерала Эрдели, не принимал активного участия в знаменитом «июльском» наступлении, когда боевой порыв самых свободных войск в мире, завершился оглушительной катастрофой под Биткувом и Манаювом.

Действия корпуса свелись к артиллерийской атаке. Другими словами, тридцать шесть легких пушек «Леконара», то есть лейб-гвардии конной артиллерии, три дня подряд долбили западный берег Стохода, приковывая к этому участку внимание немцев. Одновременно производились поиски разведчиков и выступления отдельных ударных групп...

В общем развале армии, корпус имел право считаться одною из наиболее прочных и надежных частей.

Когда в соседней пехотной дивизии, солдаты подымали на штыки своего начальника, генерал-лейтенанта Гиршфельда, и заодно прибывшего армейского комиссара Линде, в Гвардейском кавалерийском корпусе еще не наблюдалось даже ни одного случая самоуправства или неисполнения приказаний.

Когда в той же пехотной дивизии «товарищи» пригрозили открыть огонь по нашей батарее, стрелявшей в противника, сотня атаманцев с нагайками, высланная в прикрытие артиллерии, очень быстро охладила их пыл.

Да, настроение в конных частях ни в какой степени нельзя было сравнивать с таковым в пехотных дивизиях, лишенных крепкого унтер-офицерского кадра, старого опытного офицерского состава.

Однако, отдельные лица были вполне на высоте положения. Я никогда не забуду того впечатления, которое на меня произвел один из молодых командиров полков, украшенный золотым оружием и Георгиевским крестом. К сожалению, в памяти не сохранилась его фамилия, но ясно припоминается эпизод, свидетельствующий об исключительной доблести.

Однажды, проходя по участку позиции и обнаружив в полосе между проволочным заграждением и бруствером развевавшийся на шесте белый флаг, сработанный из обыкновенной солдатской «дачки», командир полка обернулся к сопровождавшему его ротному командиру с приказанием:

– Убрать!

Молодой прапорщик, пригнувшись, сделал несколько робких шагов и, не выдержав свиста пролетающих пуль, вернулся обратно.

И здесь, на глазах притаившихся в окопах солдат, командир перекрестился, вскочил на бруствер, спустился к проволочному заграждению и сорвал древко с полотнищем.

Я припоминаю как этот мужественный герой, сидя в своей убогой землянке, со слезами на глазах, передавал мне о том, в какое жалкое, трусливое, подлое стадо превратила революция его солдат. А последний приказ по дивизии требовал выделения из рядов полка ста отборных людей, для формирования «ударного» батальона. Можно себе представить к чему сводилась боеспособность полка, с выделением этих людей?

Все это было, к сожалению, печальною истиной, по поводу которой можно было негодовать, терзаться и гореть пламенной ненавистью к разрушителям армии, сознательно и несознательно творившим великое преступление.

Но остановить разрушение и вдохнуть в армию прежний дух, при создавшейся обстановке, казалось было уже невозможно...

Штаб Гвардейского кавалерийского корпуса, занимавшего позицию на Стоходе, по обе стороны железнодорожного полотна на Ковель, имея в ближнем тылу станцию Переспа, помещался в усадьбе Пожарки.

Владелица этой усадьбы, некая польская графиня, по имевшимся сведениям, сбежала с каким-то австрийским полковником, оставив в нашем распоряжении обширный барский палац и старый запущенный парк, не лишенный поэтического очарования.

Командиром корпуса, после генерала Хана Нахичеванского, смелого, но достаточно невежественного в военном смысле начальника, отрешенного от командования с первых дней революции, был назначен молодой генерал-лейтенант Арсеньев.

Евгений Константинович Арсеньев, бывший петергофский улан, участник китайской и японской кампаний, считался блестящим строевым офицером. Высокий, стройный блондин, с приветливыми чертами лица, он принадлежал к числу тех людей, к которым судьба отнеслась с исключительной благосклонностью. Выделившись из среды сверстников боевыми заслугами, генерал Арсеньев в короткий срок достиг высоких военных ступеней.

Война застала его в чине полковника и в звании флигель-адъютанта. Награжденный Георгиевским крестом, минуя командование армейским полком, Арсеньев, в изъятие общего правила, получил полк синих гатчинских кирасир, после непродолжительного командования бригадой и Первой гвардейской кавалерийской дивизией, принял настоящую должность.

Я же стал начальником его штаба вслед за самоубийством моего предшественника, генерала барона Винекена, не выдержавшего революционного потрясения и покончившего с собой в припадке черной меланхолии.

Мои отношения с генералом Арсеньевым приняли, с первых шагов, безукоризненную форму. Несомненно здесь играло роль и давнишнее знакомство. С другой стороны, натура моего молодого начальника располагала к самой сердечной симпатии.

Независимо, этого, штабная работа облегчалась содействием целого ряда даровитых помощников, из которых я должен назвать Генерального штаба подполковника Дурново, капитана Баторского и капитана Иордана, конногвардейца штабс-ротмистра барона Врангеля, конногренадера штабс-ротмистра Лайминга, гродненского гусара поручика Поклевского-Козелл и штабс-ротмистра барона Девиза, лейб-драгуна поручика Феденко-Проценко и других.

Наконец, весь командный состав, начальники всех трех дивизий – генералы князь Эристов, Абалешев, Арапов, командиры бригад и командиры полков – полковник князь Леонид Блецкий, Аленич, князь Бекович-Черкасский, Данилов, Навроцкий, Миклашевский, князь Кантакузин, Гребенщиков, князь Эристов, Лазарев, Орлов и Греков, командир лейб-гвардии конной артиллерии полковник барон Велио, даже главноуполномоченный отдела Красного Креста, бывший курляндский губернатор Набоков – все эти лица были мне близко знакомы и удельный вес каждого не составлял для меня тайны.

Из начальников отдельных частей, в особенности, мне бы хотелось отметить командиров обоих уланских полков – полковников князя Эристова и Миклашевского.

Сравнительно прочное состояние частей, при большом проценте старых солдат, блестящем офицерском составе и богато обеспеченной материальной части, выделяли Гвардейский кавалерийский корпус из состава всей русской армии.

В сущности, это не был корпус. Это была, в свою очередь, маленькая армия, если принять во внимание, что кроме трех конных дивизий и трех спешенных стрелковых полков, к корпусу было придано огромное количество вспомогательных единиц – автомобильных колонн, санитарного, дезинфекционного, шоссеино-дорожного отрядов, гвардейского саперного батальона, инженерного отделения радиотелеграфной станции, починочной мастерской, банного отряда и даже отделения военно-экономического общества.

Все это усложняло управление корпусом, лишало его необходимой подвижности, крайне затрудняло расквартирование. Благодаря боевой обстановке, разложение корпуса шло медленным темпом, части не выходили из подчинения, строевой порядок почти не нарушался.

Это происходило, к сожалению, лишь до тех пор, пока корпус не сняли с позиции, возложив ее оборону на 4-й конный корпус генерала Гилленшмидта, под временным командованием генерала Краснова, и не отвели в армейский резерв, в районе станции Шепетовка.

Кстати, несколько слов о Якове Гилленшмидте.

Многие помнят, конечно, этого бравого, красивого, стройного офицера еще по тому времени, когда затянутый в капитанский мундир гвардейского конного артиллериста, он с достойным успехом, вместе с братом своим Александром, выступал на тысячных гунтерах, на конкурсах Михайловского манежа.

Отличившись на русско-японской войне, в хайченском набеге, получив Георгиевский крест, свитское звание, Гилленшмидт стал на путь блестящей карьеры, командуя последовательно Нижегородским драгунским полком, кирасирами Его Величества, кавалерийской дивизией, наконец, конным корпусом, сохранив до конца верность монархическим принципам.

После отречения государя, генерал Гилленшмидт надел в последний раз бережно хранившуюся старую шинель с царскими вензелями, собрал офицеров своего штаба и обратился к ним с краткой, но выразительной речью:

– Петербургские мастеровые устроили революцию!.. Император отрекся!.. Да здравствует Его Величество Государь Император!

Эта речь стала известной корпусному комитету, поднялась травля и Гилленшмидт ушел...

Части Гвардейского кавалерийского корпуса были сосредоточены на крупных железнодорожных узлах – в Ровно, Казатине, Киеве, Знаменке, для поддержания порядка на станциях. Отдельные эскадроны и даже полки высылались во все стороны для умирения бунтующей революционной солдатчины.

Между прочим, дивизион лейб-улан принял участие в разгоне солдатских банд, громивших Слауту. К сожалению, дивизион прибыл поздно. Знаменитый замок уже горел, а его владелец, престарелый князь Сангушко, был убит вместе со своей племянницей и ксендзом.

Растлевающее влияние тыла не замедлило отразиться на корпусе самым отрицательным образом...

Сколько воспоминаний, и светлых и мрачных, воскрешающих яркие страницы прежней жизни и терзающих сердце картинами бесславного заката старой императорской гвардии!

Трудно передать все пережитое и совсем невозможно воплотить в небольшом очерке ту бесконечную вереницу отдельных сцен, смену лиц, настроений, полный упадок духа и прилив свежей энергии, непрестанную борьбу со злыми, темными, разрушительными силами, задававшими целью раздавить последний осколок старого русского войска.

Сколько исключительной доблести было проявлено офицерским составом в этой непосильной борьбе, сколько героических подвигов, затмевающих, может быть, все виденное на фронте!..

Все наиболее стойкое, твердое, не склонное идти на уступки революционной стихии мало-помалу было вынуждено оставлять свои полки, прикомандировываться к авиационным частям и покидать, вместе с тем, ряды гвардейского корпуса. Ставить препятствия этим уходам было нельзя. Можно было только наблюдать с глубокою грустью, как с каждым днем редели полки, бригады, дивизии.

В некоторых полках, как например в лейб-гусарском – избранном полку русской конницы, в котором проходили службу едва ли не все русские императоры, насчитывалось не более десяти человек.

Князь Леонид Елецкий, только что назначенный командиром кавалергардов, мой однокашник и друг по николаевскому училищу, под давлением солдатской массы, был вынужден оставить полк.

Высокие назначения потеряли соблазн. Назначенный начальником Первой гвардейской кавалерийской дивизии, будущий донской атаман, генерал Африкан Петрович Богаевский, кажется, с сожалением расстался со своей забайкальской дивизией.

В среде высших начальников стали наблюдаться апатия и растерянность. Начальник Второй гвардейской дивизии, генерал Абалешев, окончательно потерял «сердце» и упал духом. Не предчувствовал ли, несчастный, свою трагическую кончину?

Нельзя было совершенно узнать командира одной из бригад, генерала Маслова. В запущенной, доходившей до пояса бороде, он напоминал какого-то схимника, и никто не признал бы в нем бывшего щеголеватого лейб-улана, бессменного дирижера на придворных балах...

Крайне раздражала и требовала огромного расхода энергии борьба с агитаторами-солдатами. На каждом митинге приходилось брать слово, в спокойной, сдержанной форме уличать во лжи предыдущих ораторов, путем цифровых данных разбивать их аргументы, приводить соответствующие примеры, взывать к патриотизму невежественных людей, будить совесть, вносить необходимое успокоение.

Лично с агитаторами приходилось вести, с глазу на глаз, продолжительные беседы и, под предлогом соблазнительной служебной командировки или отпуска, удалять из частей. Между тем, руки чесались от желания выхватить револьвер и просверлить негодяю череп.

Упадок общего настроения, гнетущие сознание мысли, потеря веры в благополучный исход войны – отражались на всем. Даже генерал Арсеньев, общий любимец корпуса, хладнокровный, спокойный, не терявший присущего самообладания в острые минуты боевых напряжений мало-помалу утрачивал душевное равновесие и, в интимной беседе, признавал бессилие дальнейшей борьбы.

Нужно ли говорить, что при такой обстановке служба теряла свое значение и что пожалованный мне, за выслугу лет, чин генерала не наполнил меня особым восторгом...

В конце августа, в дни так называемого «корниловского выступления», когда 3-й конный корпус генерала Крымова медленно приближался к столице, фронт неожиданно подтянулся.

Снова загорелась надежда. Войсковая масса притихла в ожидании результатов похода. Казалось, что злокачественная революционная язва, свившая гнездо на тлетворных берегах Невы, будет, наконец, вскрыта железной рукой и вырвана из русского тела.

Это был последний, может быть, представившийся случай предотвратить надвигавшуюся анархию.

Нужно заметить еще раз, что с отречением государя, число сторонников реставрации значительно сократилось, вернее их вовсе не стало. Было, правда, несколько гвардейских офицеров, не пожелавших принимать новой присяги и вручивших рапорты об отставке. Временное правительство, насколько известно, не чинило препятствий и дало этим рапортам ход.

В своей же основной массе, офицерский состав честно протянул руку Временному правительству, как единственной законной власти.

Не предугадывая ее дальнейших форм, не разбираясь по своей политической безграмотности в ее оттенках, офицерский состав, уже сильно разбавленный по своему классовому признаку другим элементом, состоявший уже на девять десятых из демократических слоев населения, считал новую власть национальной русской властью, которая, как говорилось в ее обращении, «в единении со всеми живыми силами страны, направит армию на путь долгожданной победы и заключения славного мира».

Временное правительство, становясь, между тем, все бессильнее и ничтожнее, бесславно катилось к гибели и увлекало за собою, страну. Оно мало-помалу отшатнуло от себя офицерский состав. В сознании последнего, единственным выходом из положения представлялась военная диктатура, которая могла бы, опираясь на остатки вооруженной силы, восстановить авторитет власти и пресечь дальнейшее углубление революции.

Имя такого диктатора, если и не произносилось вслух, зато было у всех на устах. С именем Верховного главнокомандующего, популярного генерала Лавра Георгиевича Корнилова, связывалась последняя надежда...

В один из этих последних, роковых дней, сделав в автомобиле около двухсот верст, я прибыл в Ставку фронта – в Бердичев.

На вокзале повстречался со старым приятелем, генералом Константином Константиновичем Мамантовым.

Как истинный спортсмен, он только что совершил пробег из Житомира и вестовой казак вываживал его запотевшую чистокровную английскую лошадь.

С Мамантовым я не виделся больше двух лет, с тех первых дней войны, когда он командовал в нашей дивизии 6-м Донским казачьим полком. Он нисколько не изменился, так же юношески стройна была его фигура, так же свежо и красиво было лицо, и разве только в пушистых усах засеребрились кое-где предательские нити...

На одной из улиц встретил бывшего командующего 2-й армией, своего давнишнего начальника, генерала от кавалерии Сергея Михайловича Шейдемана, хорошо знавшего меня еще со времен моей юности. Он дружески обнял меня, расцеловал и от души рассмеялся, увидев на моих плечах генеральские погоны.

Да, время бежит с удивительной быстротой.

Бедный старик!.. Через какой-нибудь год, он погибнет в большевицкой тюрьме... А Константин Константинович Мамантов прогремит на Добровольческом юге, в качестве смелого партизана и, заговоренный от вражеской пули, станет жертвою сыпняка...

Едва простившись и не успев даже подъехать к зданию штаба, я стал свидетелем совершенно необычайной картины.

Оренбургский казачий полк, с шашками наголо, скакал наметом по главной улице. Навстречу ему, из ближайшего переулочка, выкатились три броневые машины. Публика шарахнулась в сторону. Казаки остановились, подумали и повернули назад.

А в вестибюле штаба взорам представилась новая сцена.

Группа молодых офицеров, потрясая обнаженными шашками и револьверами, кричала:

– Солдаты и офицеры, не предадим генерала Корнилова!

В другом углу, более многочисленная группа солдат, размахивая винтовками, кричала в свою очередь:

– Товарищи!.. Смерть изменнику, генералу Корнилову!

Штаб находился в состоянии полной растерянности. Из комнаты в комнату бегали офицеры, чиновники, писаря, взволнованные до предела, с искаженными лицами, с дрожащими от испуга руками. В комнаты врвались вооруженные банды солдат, кого-то арестовывали, куда-то уводили. По слухам, уже арестован главнокомандующий фронтом генерал Деникин, его молодой начальник штаба генерал Марков, командующий 9-й армией генерал Эрдели, генералы Орлов, Эльснер и другие.

По совету друзей, я не задерживался. Мне удалось избежать ареста, проскочить через одну из застав, перехвативших дороги из города, и к вечеру прибыть в штаб Гвардейского кавалерийского корпуса, чтобы совершенно неожиданно очутиться на скамье подсудимых...

В тенистом парке усадьбы, за несколькими столами, с зажженными лампами сидела группа солдат. Шло экстренное заседание корпусного комитета, под председательством лейб-гусарского унтер-офицера Тарасова, достаточно толково, к слову сказать, разбиравшегося в своих высоких обязанностях. Настроение было крайне приподнятое. Сотни солдат сгрудились у столов. Другие, прибыв по вызову, с лошадьми, с походными сумками, с полным вооружением, стояли под каштанами старого парка. По адресу генерала Корнилова неслись угрожающие выкрики:

– Изменник!.. Предатель!.. Смерть генералу Корнилову!

На повестке стоял вопрос:

«Арестовать ли офицеров гвардейского корпуса за сочувствие выступлению и за принадлежность к офицерскому союзу?»

Начались прения.

Много злобы, ненависти, грубой и беззастенчивой лжи пришлось выслушать от целого ряда доморощенных демагогов, как своих собственных, так и не замедливших появиться из ближайшего тыла. Бравых кавалеристов «Гвардкава» трудно было узнать. Неудача корниловского выступления резко изменила настроение солдатских масс.

Большинством голосов прения были, наконец, прекращены. Офицерам не дали высказаться. Приступили к выработке резолюции. Положение, если можно так выразиться, спас унтер-офицер из охотников, лейб-улан Нехорошев, маленький московский присяжный поверенный, очень искусно сказавший несколько заключительных слов и повлиявший на смягчение резолюции.

Импровизированный суд сменил гнев на милость и ограничился лишь выносом офицерскому составу «предупреждения»...

Последний этап связан с перемещением корпуса в еще более глубокий тыл, по соседству со Старокопанинским, в котором находился штаб 7-й армии, генерала Рерберга.

Части корпуса, по санитарным условиям, были расквартированы в широком районе, а корпусный штаб помещался в Драчах, усадьбе польского пана Заблоцкого.

К этому периоду относятся наиболее горькие воспоминания.

Ни комфортабельная усадьба, ни изысканная любезность помещика, ни свежая девичья прелесть его миловидных племянниц – панн Ирены и Гальжки, щебетавших звонкими головами шопеновские романсы или патриотический гимн – «Еще Польша не сгинела!», не заглушили в груди чувства невыразимой тоски, гнета, может быть, даже отчаяния.

Все валилось из рук... Терялся проблеск малейшей надежды... Катастрофа надвигалась неумолимо...

Однажды ко мне явился командир стрелкового полка Третьей гвардейской кавалерийской дивизии, молодой уланский полковник барон Притвиц, остроумный, находчивый, не теряющий доброго настроения офицер, переименованный друзьями, в шутку, на демократический лад – Притвичуком.

Барон, расстроенный совсем не на шутку, докладывает о серьезной вспышке в полку и умоляет прислать армейского комиссара.

В тот же день прибыл Тихон Иванович Макалыш.

Это был пожилой человек, с седыми щетинистыми щеками и усами, одетый почему-то в австрийскую куртку, с огромным маузером на пояском ремне. В дореволюционное время Тихон Иванович занимал скромную должность монтера в севастопольском адмиральском дворце. В настоящее время, за выдающиеся заслуги и за вполне сознательное отношение к завоеваниям революции, состоял в роли армейского комиссара.

Тихон Иванович Макалыш был принят в штабе корпуса подобающим его высокому положению образом, информирован о создавшемся положении в стрелковом полку, приглашен к обеденному столу.

В его распоряжение был отдан один из самых исправных «роллс-ройсов», на котором Тихон Иванович, по окончании трапезы, отбыл в взбунтовавшийся полк.

К вечеру Тихон Иванович Макалыш и полковник Притвиц, оба ликующие от одержанной ими победы, вернулись в штаб корпуса. В стрелковом полку состоялось полное примирение между солдатами и офицерским составом. Комиссар, на глазах у всего полка, облобызался с командиром, солдаты покачали и подбросили обоих на воздух, инцидент был ликвидирован самым благополучным образом.

В ближайшие дни, поощренный успехом, Тихон Иванович предпринял поездку по остальным частям корпуса, всюду внес необходимое успокоение, везде был предметом дружных, шумных, неподдельных оваций. А в лейб-гусарском полку, терзая рыбу ножом и чокаясь с офицерами полным стаканом, до того был обласкан, что застрял на трое суток.

К сожалению, через какую-нибудь неделю, авторитет комиссара поблек. Солдаты стали встречать его обидным хохотом, свистом, оскорбительными словами:

– Переодетый генерал!

Настроение в частях вновь обострилось. Печальные инциденты следовали один за другим. Вмешательство комиссара подливало масло в огонь.

И Тихон Иванович уехал.

И расставаясь с офицерами штаба, не выдержал, оросил щетинистые щеки слезами и произнес:

– Спасибо, друзья!.. Век буду помнить.

Потом, приподнявшись на сидении автомобиля и погрозив кулаком в пространство, добавил по неизвестному адресу:

– Скоты!

Через месяц от доблестного «Гвардкава» осталось одно только воспоминание...

Травился фураж, сжигался семенной клевер, спускались пруды для ловли племенных маток. По всем направлениям трещали выстрелы и вдогонку стаям пролетных гусей свистели пули. Окрестные помещики забрасывали штаб бесконечными жалобами и приезжал даже владелец соседнего «Августина», претендент на корону польского короля, граф Август Потоцкий.

Революция углублялась.

В борьбе Корнилова с Керенским, последний одержал решительную победу... Армию обезглавили... У офицерского состава вынули душу...

«Гвардкав» рассыпался с молниеносной быстротой.

Но в утешение нужно сказать, что развал произошел без пролития крови, без насилий и тех обид, которые выпали на долю офицерского состава в других частях многострадальной императорской армии.

Солдаты поделили между собою деньги и полковое имущество, распродали мужикам лишние вещи и попрощавшись, в отдельных случаях, даже горячо со своими офицерами, растеклись по домам – кто одиночным порядком, кто целой компанией, кто пешком, кто по железной дороге, кто в конном строе, целыми эскадронами.

В частности, мой вестовой, Пугачов Василий, даже растрогал меня своею преданностью и бескорыстием. И только после строгого приказа принял на память о совместной службе в «Гвардкаве» скромный денежный подарок и полосатую английскую попону, из которой скроил себе великолепную тужурку.

6. Загадка Крымова

В памятные осенние дни семнадцатого года, когда после очередного июльского выступления большевиков было решено, на основе переговоров Керенского с Корниловым, занять Петроград войсками с фронта, выбор Верховного главнокомандующего остановился на генерале Крымове.

Керенский пытался было противодействовать этому назначению, но Корнилов настоял на своем.

Я считаю долгом посвятить несколько слов этому главному действующему лицу неудавшегося корниловского похода, которого знал очень близко еще со времени совместных академических дней, с которым неоднократно встречался впоследствии, который производил на меня впечатление человека, отмеченного судьбой...

Штабс-капитан артиллерии Александр Михайлович Крымов окончил академию Генерального штаба в 1902 году.

Крупный, представительный, рослый, он импонирует не только фигурой. Сильная, волевая натура, апломб, безапелляционность суждений, несколько грубоватая, может быть, самоуверенность, какая-то особая скептически-насмешливая манера и многое из того, что не поддается точному определению, выделяют его из среды сверстников.

Даже академическое начальство отмечает его по-своему и, не в пример прочим молодым слушателям, относится к артиллерийскому штабс-капитану с чувством исключительного доверия и некоторой завидной почтительности. Это не отношение профессора к ученику, а нечто напоминающее отношение равного к равному. Крымов серьезен, обладает ясным и трезвым мышлением, определенность и логика звучат в каждой фразе...

Крымов отличается на русско-японской войне.

Стойкое упорство 4-го зарубаевского корпуса на лоянских позициях, отбившего все атаки и завалившего подступы японскими трупами, обязано твердости молодого капитана Крымова, временно исполнявшего обязанности начальника штаба.

Генерал Зарубаев, впоследствии генерал-адъютант и инспектор пехоты, имел видимо основания, указывая на свой Георгиевский крест, говорить:

– Этот крест – это Крымову спасибо!

Одновременно, добродушный старик вспоминал, с улыбкой, крутой нрав своего ближайшего помощника, не очень сдержанного на язык, не стеснявшегося порой в выражениях даже по адресу прямого начальника. В этих случаях, генерал Зарубаев посылал в соседнюю комнату своего адъютанта с просьбой, чтобы «капитан не так громко его ругал!»

По аналогии мелькает исторический эпизод.

Сравнивая в этом случае Крымова с маршалом Неем и, с большой натяжкой, сопоставляя старика Зарубаева Наполеону, можно провести параллель, когда после бородинского боя, император французов предлагал «храбрейшему из храбрых» умерить свой пыл и неподходящие выражения...

С окончанием Русско-японской войны, Крымов возвращается в Петербург, читает лекции в военных училищах, заведует практическими занятиями в офицерской кавалерийской школе.

Крымов остроумен, насмешлив. Однако, это не легкомысленный весельчак, балагур, зубоскал, склонный потешать окружающих при всяком удобном и неудобном случае. Это человек несколько замкнутый, молчаливый, не способный кидать слова на ветер, человек с весом, в буквальном и в переносном смысле. Шутка в его устах приобретает особую силу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.